

Андрей Белый

Маски



Андрей Белый

Маски

«Public Domain»

1930

Белый А.

Маски / А. Белый — «Public Domain», 1930

«Роман «Маски» есть второй том романа «Москва», обнимающего в задании автора 4 тома. Второй том рисует предреволюционное разложение русского общества (осень и зима 16-го года); третий том в намерении автора должен нарисовать эпоху революции и часть эпохи военного коммунизма; четвертый том обнимает эпоху конца нэпа и начала нового реконструктивного периода; таково намерение автора, который должен оговориться: намерение – не исполнение, тот, кто намеревается, мыслит механически, рассудочно, квантитативно; процесс написания, т. е. процесс обрастания намерения, как абстрактной конструкции, образами есть выявление тех новых качественностей, в которых квантитативное мышление, так сказать, заново вываривается; мышление образами – квалитативно, мышление в понятиях – квантитативно. Художественное произведение есть синтез обоих родов мышления: и как всякий конкретный синтез, оно является порой сюрпризом для автора...»

Содержание

Вместо предисловия	6
Глава первая	11
Особняк, бывший Хаппих-иппихена	11
Тителев	13
Коробкин	15
Элеонорочка	17
Точно рыдван опрокинутый	18
Ветер сигает оврагами	20
Те ж статуэтки	22
У Зинки, уфимки...	24
Выход единственный	26
Митенька	28
Шамканье	30
Серебёрнь!	31
«Перевезенец наш»	32
Дом с резонансами	33
Что они делали?	35
Переюрк	37
Безымень	39
Судьба толстопятая	41
Чорт вас дери!	43
Катастрофа	44
И бзыком и мыком	46
Сестра	49
Он губами писал, как губернии	51
Сквозной свет	53
Номер семь	54
Глава вторая	56
Телятина, Мелдомедон, Серборезова!	56
Цупурухнул	57
Лили Клаккенклипс	59
На фронт: в горизонт!	61
Ввиду этих слухов	63
Гузик, пан Ян	65
Черный квадрат	67
О, дон Мамаво!	68
Кока: корнет	70
Молкнет все	71
Рожа скорчена	73
Протез было мало	75
Но предатель в Москве	76
Генерал Булдуков	78
Елеонство	80
Тигроватко	82
Гранаты, пестримые мушками	84
Бородою просунулся в двери	86

В золоте стен – Домардэн	87
Северский фарфор леопардовых колеров	89
Черная ручка с кровавым цветком	91
Мадам Тителева	92
Как прыжком леопардовым, – в дверь!	93
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Андрей Белый

Маски

Вместо предисловия

Роман «Маски» есть второй том романа «Москва», обнимающего в задании автора 4 тома. Второй том рисует предреволюционное разложение русского общества (осень и зима 16-го года); третий том в намерении автора должен нарисовать эпоху революции и часть эпохи военного коммунизма; четвертый том обнимает эпоху конца нэпа и начала нового реконструктивного периода; таково намерение автора, который должен оговориться: намерение – не исполнение, тот, кто намеревается, мыслит механически, рассудочно, квантитативно; процесс написания, т. е. процесс обрастания намерения, как абстрактной конструкции, образами есть выявление тех новых качественностей, в которых квантитативное мышление, так сказать, заново вываривается; мышление образами – квалитативно, мышление в понятиях – квантитативно. Художественное произведение есть синтез обоих родов мышления: и как всякий конкретный синтез, оно является порой сюрпризом для автора.

Таким сюрпризом явился для меня второй том романа «Москва», долженствовавший включить февральскую и октябрьскую революции. Но в процессе организации текста тема разрасталась; и подход к революции автора усложнил значительно для него ту художественную платформу, с которой он хотел показать своих героев в революции; сюжет разросся, и часть второго тома неожиданно выросла в том; действующие лица, которых истинный характер развертывается лишь в революции, остались в судьбах метаморфозы сюжета второго тома, – в подпольи; они показаны сознательно в задержки, в полумолчании, они заговорят лишь в третьем томе, такова фигура Тителева: лишь в третьем томе определится роль и других действующих лиц в революции: братьев Коробкиных, Серафимы, Лизаши; во втором томе они даны в самопротиворечии; особенно это имеет место относительно профессора Коробкина, который показан как антитеза первого тома, т. е. как отрицающий свою прежнюю жизнь и как еще не осознавший своего места в событиях, которые властно его вырывают из той среды, в которой он жил.

В третьем и четвертом томах автор надеется показать своих героев в синтезе диалектического процесса, который протекает в душе каждого: по-своему; второй том – антитеза: как таковой, он есть сознательно заостряемый автором вопрос: как жить в таком гнилом мире? «Быть или не быть» (бытие, небытие), сознательный гамлетизм, размышление над черепом уже сгнившей действительности, морочащей, что жива, есть планомерное заключение второго тома; он – диада без триады: поэтому-то второй том – «Маски»; революция уже рвет их с замаскированных; личности, в первом томе показанные в своем самостном эгоизме, уже – личности-личины. Второй том сознательно кончается фразой: «Читатель – пока: продолжение следует». Диада волит триады; антитеза восходит к синтезу.

Что касается до сюжетного содержания, то оно является психологически продолжением первого тома в постоянном поверте внимания на события первого тома и в новом освещении их (в показе по-новому); но автор старался писать так, чтобы для читателей второго тома «Москвы» роман «Маски» был самостоятелен, те из читателей, которые не прочли первого тома, в процессе чтения постепенно знакомятся с его содержанием, подобно тому, как герои ибсеновских драм постепенно в диалоге вводят зрителя в событие, бывшее до начала драмы; некоторая сюжетная неясность первых глав (для не читавших первого тома) не препятствует чтению второго тома, ибо она введена как интрига, сознательно вздергивающая внимание, чтобы удовлетворить любопытство; пусть не знают о случае с профессором (первый том);

остается интригующее: «Что это значит?» Недоумение проясняется; пусть интригуют псевдонимы (Домардэн, Тителевы); маски слетают с них. Напомню, что такой прием закономерен; напомню, что весь роман Диккенса «Наш взаимный друг» построен на любопытстве, вырастающем из недоумения.

Все же в двух словах восстанавливаю здесь содержание первого тома, фабула которого весьма проста.

Рассеянный чудака-профессор наталкивается на открытие огромной важности, лежащее в той сфере математики, которая соприкасается со сферой теоретической механики; из априорных выводов вытекает абстрактное пока что предположение, что открытие применимо к технике и, в частности, к военному делу, открывая возможность действия лучам такой разрушительной силы, перед которыми не устоит никакая сила; разумеется, об этом пронюхали военные агенты «великих» держав: действуя через авантюриста Мандро, своего рода маркиза де-Сада и Калиостро XX века, они окружают профессора шпионажем; Мандро плетет тонкую паутину вокруг профессора, который замечает слежку, не зная ее подлинных корней; и проникается смутным ужасом, что патриархальные устои быта, вне которого он не мыслит себя, – не защищают его и что стены его кабинета – дают течь.

Между тем Мандро, пойманный с поличным как немецкий шпион и как развратник, изнасиловавший собственную дочь, Лизашу, вынужден скрыться; припертый к стене, он решается на крайнее средство: силою вырвать у профессора все бумаги, относящиеся к открытию, чтобы их продать куда следует (в этом залог его ненаказуемости); загримированный, он проникает в пустую квартиру профессора, в которой профессор, приехавший с дачи, ночует один; последний отказывается выдать бумаги, и с абстрактным донкихотизмом пытается силой своих убеждений бороться с физической силой Мандро, которому ничего не остается, как... прибегнуть к пытке профессора, во время которой он в умоисступлении, почти в безумии, выживает профессору глаз; но пытаемый выказывает силу воли; он сходит с ума во время пыток, но бумаг, зашитых в жилете, не выдает.

Мандро случайно пойман на месте преступления; он не бежит, как потерявший сознание; его увозят в тюремную больницу, где он и умирает – де не опознанный; профессора везут в сумасшедший дом. Вот основная линия очень простого сюжета.

У профессора есть друг, Николай Николаевич Киерко, тайный революционер, действующий в подполье и мимикрирующий лукавого шутника, шахматиста, бездельника; Киерко видит драму профессора и понимает, что истинная почва драмы – не аферист Мандро, а весь строй; он случайно узнает об ужасной драме, пережитой дочерью Мандро, Лизашей, после того, как Мандро использовал ее дочернюю любовь для того, чтобы ее обесчестить; в Лизаше среди хаоса болезненных, чисто декадентских переживаний есть и нечто, роднящее ее с утопиями о социалистическом городе Солнца; приняв участие в несчастье Лизаши, Киерко дружески с ней сближается и старается выпрямить в ней до марксизма ее утопические представления.

Вот все, что нужно знать читателю романа «Маски», чтобы интрига второго тома была понятна без первого; пожалуй, следует ему знать об отношении между профессором и женой, Василисой Сергеевной, фразеркой, имеющей старинный роман с гимназическим товарищем профессора, фразером, академиком. Задопьятовым; жена Задопьятова, узнав об измене мужа, устраивает профессорше скандал, во время которого ее постигает апоплексический удар; и фразер Задопьятов, движимый раскаяньем, старается искупить свою вину, ухаживая за больной женой. Профессор знает о связи жены; и – равнодушен к ней, как равнодушен он к дому, равнодушен к обманывающему его сыну; он любит лишь дочь, Наденьку, хрупкое, хилое, милое создание.

Повторяю: суть не в овладении всеми этими деталями фабулы первого тома «Москвы», а в ретроспективном взгляде на первый том из второго; для этого взгляда достаточно усвоить воспроизводимую мною здесь схему фабулы; она восстанавливается в ходе второго тома.

Предлагая вниманию читателей второй том «Москвы» под заглавием «Маски», я должен в двух словах показать свой художественный паспорт, т. е. поставить читателей в известность относительно того, чего я добивался, как эффекта (добился или не добился, – другой вопрос). Каждая картина имеет свой фокус: одни картины пишутся для разгляда с близкого расстояния; другие – предполагают дистанцию.

Когда добиваешься новых средств выражения, надо сказать об этом читателю, чтобы не получилась картина всей истории русской литературы, а именно: великого ученого Ломоносова, предварившего открытие закона постоянства материи, твердого азота в небесном куполе и т. д., оплевывает пошляк Сумароков, как непонятого, бессмыслицы пишущего поэта; он-де пишет для звукового грохота, а не для мысли (воображаю мину мыслителя-ученого при эдаком наскоке «пошлячка»); Пушкина, создающего в 35 – 36-х годах прошлого века лучшие произведения, – не читают, предпочитая ему зализанную пошлость Бенедиктовых и Кукольников; далее: попеременно оплевывают «современники» – Лермонтова; Гоголя Толстой-американец предлагает сослать в Сибирь; и Гоголь с ревом почти бежит за границу от современных ему изъяснителей его; далее: проплеваются – Достоевский, Гончаров; замалчивается Лесков; плев продолжается весь XIX век, – вплоть до оплевания Брюсова, Блока (в 1900–1910 годах), гогота над Маяковским (1912 г.) и т. д.

Не все рождены быть популяризаторами завоеваний в сфере техники слова; напому: всегда достается тем, кто в процессе написания романа открывает при романе еще лаборатории, в которых устраиваются опыты с растиранием красок, наложением теней и т. д.

Из этого вовсе не следует, что я себя мною открывателем путей; я, может быть, жалкий Вагнер, фанатик, праздно исчисляющий квадратуру круга; не мне знать, добился ли я новых красок; но, извините пожалуйста, – и не Булгарину XX века, при мне пребывающему, дано это знать; лишь будущее рассудит нас (меня и поплевающих на мой «стиль», мою технику); допускаю, что я всего-навсего лишь... Тредьяковский, а не Ломоносов; но и Тредьяковские в своих лабораторных опытах нужны; самодельные приборы, весьма неуклюжие, предваряют усовершенствованные приборы будущего. Моя вина в том, что я не иду покупать себе готового прибора слов, а приготавливаю свой, пусть нелепый.

Я могу показаться необычным; необычность – не оторванность; необычное сегодня может завтра войти в обиход, как не только понятное, но и как удобное для использования.

Импрессионисты были непонятны до момента, пока кто-то не подсказал: вот как их нужно смотреть; с этого момента – вдруг: непонятные стали понятны; Ломоносов Сумарокову (как и иному из сегодняшних критиков) непонятен без внятного, краткого урока о том, что звуковой жест вот в каком смысле играет роль в культуре художественного слова; теперь всякому понятен термин Шкловского «остраннение»; но применять сознательно принцип «остраннения» (в учении о «далековатости» в выборе сравнений) начал Ломоносов за более чем 150 лет до Шкловского; непонятый в XVIII веке, он ясен – в XX.

Все это – вот к чему: я пишу не для чтения глазами, а для читателя, внутренне произносящего мой текст; и поэтому я сознательно насыщаю смысловую абстракцию не только красками, гамму которых изучаю при описании любого ничтожного предмета, но и звуками до того, например, что звуковой мотив фамилии Мандро, себя повторяя в «др», становится одной из главнейших аллитераций всего романа, т. е.: я, как Ломоносов, культивирую – риторику, звук, интонацию, жест; я автор не «пописывающий», а рассказывающий напевно, жестикуляционно; я сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы.

Периодическая речь – речь для произнесения; она распадается на своего рода строчки, прерываемые паузами, после которых – голосовой подчёрк; произнося, я могу и подчёркнуть союз «и», и слизнуть его; я могу скороговоркой оттенить побочность данной части фразы, как обертона, ассоциации; и могу выделить два слова, если в них – смысловой удар; не одно и то же: «хорошая... погода»; и – «хорошая погода».

Из чисто интонационных соображений там, где мне нужно, моя фраза разорвана так, что придаточное предложение, оторванное от главного, вылетает на середину строки.

Когда я пишу: «И – „брень-брень“ – отзывались стаканы», то это значит, что звукоподражание «брень-брень» – случайная ассоциация авторского языка.

Когда же я пишу:

«И –

– «брень-брень» –

– отзывались стаканы...» –

– это значит, что звукоподражание как-то по-особенному задевает того, кто мыслит его; это значит, – автор произносит: «ии» (полное смысла, обращающее внимание «и»), пауза; и «брень-брень», как западающий в сознание звук.

Кто не считается со звуком моих фраз и с интонационной расстановкой, а летит с молниеносной быстротой по строке, тому весь живой рассказ автора (из уха в ухо) – досадная помеха, преткновение, которое создает непонятность: непонятность – не оттого, что непонятен автор, а оттого, что очки, т. е. специальный прибор для ношения на носу, не ведающий о назначении читатель (как читатель Ломоносова Сумароков), начинает нюхать, а не носить на носу.

Мою прозу надо носить «на носу», а не обнюхивать ее по-сумароковски; и тогда она понятна, как понятна нам песня (для жителя Марса, быть может, «песня» – наидичайшая бессмыслица).

Моя проза – совсем не проза; она – поэма в стихах (анapest); она напечатана прозой лишь для экономии места; мои строчки прозы слагались мной на прогулках, в лесах, а не записывались за письменным столом; «Маски» – очень большая эпическая поэма, написанная прозой для экономии бумаги. Я – поэт, поэмник, а не беллетрист; читайте меня осмысленно; ведь и стихи в бессмысленной скандировке – чепуха; например: «Духот рицанья, духсо мненья»; вместо: «Дух отрицанья, дух сомненья».

Любое место «прозы» я слышу в строчках; например:

Бывало – смеркается:

Тени запрыгают черными кошками;

Черною скромницей

Из-за угла

Обнажает Леоночка глаз папироски.

И т. д.

«Маски» – огромная по размеру эпическая поэма, написанная экономии ради прозаической расстановкой слов с выделением лишь в строчки главных пауз и главных интонационных ударений.

В-третьих: я очень много работал над жестом героев; жесты даны пантомимически; т. е. сознательно утрированы, как бывают они утрированы, когда сопровождаются музыкой, главное содержание душевной жизни героев дано не в словах, а в жесте, как и в действительности, в действительности интонация, мина, жест важнее слов; я старался, где можно, стереть литературщину с литературного изложения; в целях реализма. Наконец: право автора раскрашивать душевное содержание героев предметами их быта, оговариваюсь: цвета обоев, платья, краски закатов, – все это не случайные отступления от смысловой тенденции у меня, а – музыкаль-

ные лейтмотивы, кропотливо измеренные и взвешенные. Кто не примет этого во внимание, тот в самом смысле не увидит смысла, ибо я стараюсь и смысл сделать звуковым и красочным, чтобы, наоборот, звук и краска стали красноречивы.

Кроме того: считаю нужным сказать два слова о сознательно введенных словечках; мне говорят: «Так не говорят». И я согласен, например, что крестьяне не говорят, как мои крестьяне; но это потому, что я сознательно насыщаю их речь, даю квинтэссенцию речи; не говоря в целом, но все элементы народного языка существуют, не выдуманы, а взяты из поговорок, побасенок.

Мое право типизировать, отбирать слова по линии максимального насыщения: «ядре-ный», «пересыщенный» язык мне тем более нужен в иных сценах, что «Маски» – драматичны по содержанию; а драматические моменты нуждаются в темперировании их нарочито грубою солью народного языка: это – прием, мною взятый у Шекспира (Лир и шут, Гамлет и могильщики и т. д.).

В завершение скажу, что, пишучи «Маски», я учился: словесной орнаментике у Гоголя; ритму – у Ницше; драматическим приемам – у Шекспира; жесту – у пантомимы, музыка, которую слушало внутреннее ухо, – Шуман; правде же я учился у природы моих впечатлений от Москвы 1916 года, поразившей меня картиной развала, пляской над бездной, когда я вернулся из-за границы после 4-летнего отсутствия.

Считаю все это нужным сказать, чтобы читатель читал меня, став в слуховом фокусе; если он ему чужд, пусть закроет книгу; очки – для глаз, а не для носа; табак для носа, а не для глаз. Всякое намерение имеет свои средства.

Андрей Белый

Кучино 2 июня 1930 года

Глава первая Брат Никанор

Особняк, бывший Хаппих-иппахена

Козиев Третий с заборами ломится из Гартагалова к Хаппих-Иппахена особняку (куплен Элеонорой Леоновной Тителевой); остановимся: вот дрянцеватая старь!

И Солярник-Старчак с Неперепревым думали, что покупалось пространство двора, а не дом: для постройки.

Репейник, да куст, да лысастое место – большой буерачащий двор, обнесенный заборами от Гартагалова, Козиева, Фелефокова и Синюкишенского переулков, которые вместе с Жебривым и Дриковым – головоломка сплошных загогулин, куда скребачи-скопидомы, семейные люди, за скарбами сели, где улицы нет никакой, и в тупик выпирает перинами толстое собство.

Задержашь здесь, – чортов с двадцать; и пот оботрешь двадцать раз, как теленок, Макарами загнанный в Козиеву, сказать можно, спираль.

От нее – тупички, точно лапочки сороконожки. Заборчики, крыши; подпрыгивает протуварчик; скорячась, пройдешь – кое-как; коли прямо пойдешь, – разлетятся берцовые кости; и будет разбитие носа о дом Неперепрева: красный фундамент на улицу вышел.

Другие дома не доперли; лишь крыши кривые крыжовниковых красно-ржавых цветов, в глубине тупиков повалятся, трухлеют под небом; а дом Неперепрева прет за заборик; из сизо-серизовой выприны «сам» с пятипалой рукой и с блюдечком чайным, из окон своих рассуждает.

Напротив заборчик, глухой, ослабляясь ржавыми зубьями; сурики, листья сметает; подумаешь – сад.

Здесь когда-то стояла и кадка-дождейка; и куст подрезной был; латук¹, лакфиоль² разводили; цвела центифолия; ныне же тополь рябою листвою шумит да склоняется липа прощепом – сучьистое, мшистое и заструпелое дерево; коли кору оторвешь, – запах прели; скамеечка: «Хаппих-Иппахен, Ипат» – на ней вырезано. Домик, –

– весь в отколуплинах, ржаво-оранжевый, одноэтажный, с известкой обтресканной, с выхватом, красный кирпич обнажающим, –

– нет, неказист этот дом, щегольнувший бы кремово-бледным веночком фронтона, кабы не огадила птица его; с журавлем, без синиц, – невозможное дело ремонт! Неперепрев тебе отслонявит синиц этих, синих, – а Тителев – и не семьяк, и не скарбник: на книге без денег сидит, а какая-нибудь неприметная личность стоит под воротами, ждет, чтобы дворник, Акакий Икавшев, пошел на звонок.

Бледно-кремовый, очень высокий фундамент с нестертою рожей, Ипатом примазанной; надпись подтерли бы; видно, соседи-то – зубры; Психопержицкая, домовладелица; с ней – Гнидоедов, Егор.

Вышел дом в полтора этажа: с причердачным окном; крыша, серо-зеленого выцвета, ржавая, как кружевная, – труха; а синь дымная гонит свое перегонное облако на эту крышу: под ропотень капелек. Так же оранжевы: дворницкая, помещенье конюшенное среди бурьянов, уже деревянных (у Хаппих-Иппахена и у Зербадиной лошади были; у этого – нет лошадей); кры-

¹ Латук – огородное растение, употребляемое в пищу, ядовитый латук – одурманивающее средство.

² Лакфиоль – травянистое комнатное и садовое растение с желтыми или коричневыми цветками.

тый дерном ледник – при сарае для дряни с приваленной тачкой, гнильцом, с корневищем: торчит в буераке.

А далее – флигель оранжевый, сдаенный Хаппих-Иппахенами Щелдачку, Родиону Ионычу, за Таганрог уезжавшему и привозившему груши да дули, – замоклый; и рябь расколуплин, как сыпь.

Дальше – встало лысастое место, откуда неслись сухоплясы пылей и откуда смотрели за город; на пригород, как перехвачен он балками, как, еле видная, искренью светит река, тут и скат буерачащий, сrostени кустиков, вплоть до забора.

А наискось –

дом Непососько –

– торчит с Фелефокова.

Если же дальше идти, будет сверт и расперстный заборик: с подпором: крылечко – с пошатом, в репьях, выходящее в дворик, где бревна, раскольчатые, крепко рублены: в угол и в лапу; плеснеет фундамент; с протрухой стена,

где – протек на кофейной, оржавленной крыше; рудеет под нею земля; и – веревка: на ней – платье репсовое.

Еще дальше – еще тебе будет заборик; себя повторяющий желтым столбом (через десять жердей), с начертанием, углем прописанным: «Голубоглазова – Лидия – не Листолапова, Лиза; недавно еще доцветали подсолнухи желтые там с георгиною синею; кладка березовых и белорозовых, еще не сложенных дров, где молочного цвета коза забодалась с щенятами и где свинья походила на муху. Колодезек, но без воды, ехал набок года, принижаясь вышкой, как часовой, задремавший с ружьем и обнюханный кошкой. Из-за заборика приподнималась порой голова, чтобы бросить: в пространство соседского домика:

– Я те кулак-то приляпаю к морде; дугой согну спину; заставлю копать носом хрен: да еще – пришью к пятке нос; да еще – взбочь: впереверт, коловертом».

И – пряталась.

И – наступало молчание.

– «Пой, пустослов, – пой; кусаются и комары: до поры!.. Сам бью больно!»

И – пряталась.

Это Егор Гнидоедов, хозяин, с жильцами соседнего дома беседовал.

По вечерам здесь под лепет деревьев какое-то – «пл-пл-пл» – вlepлено в ухо, как тление, –

– как оплевание, как оскорбление, –

– и как

удары дубины по пыли! И ветер, – как вырыв песков сизо-сивых. Какое здесь все – деревянное, дрянное, пересерелое и перепрелое: перераздряпано и расшарапано; серые смеси навесов всех колеров – перепелиных и пепельных, – пелятся в пыли и валяются в плевелы, как перепицы, –

– сизые, сивы, вшивые, –

– валяются –

в дизентерии и тифы!

И – дом: цвета перца; и – дом: цвета персика; пепельны плевелы; клейкого берега красные глины, заречные песни; и встречные встрепеты ветра.

И домик Клеоклева –

– в пепельных плевелах, пепельно вlepенный в пепельном воздухе!

Тителев

– Тителев, Тителев! – у Никанора Иваныча вырвется. – Этот не то, что другие: он – вывод загнет.

Его комната – строгая очень: здесь дерево – дикого цвета; сукно – сизо-серое: кресла, стола; на нем дикие, пятнами, папки; такого же дикого, сизого цвета процветы обой; задерябленный, карий ковер темно-синими каймами пол закрывает; и книжные полки; и – шторная штопань; колпак ремингтона; с пружиною сломанной, кожаный, старый диван; под него туфли втоптаны.

Наисветлейшее, передвигающееся пятно в дикосизом своем кабинетике, – Тителев.

С голубоватым отливом короткая курточка-спенсер, с износами: в зелень и в желчь; брюки – дымного цвета, а галстух, носки и подтяжки с блестящими пряжками – сиверко сини; малиновый, яркий жилет.

Тюбетейка, в которую лысину прячет, – зеленая, с золотцем. Желтая, жесткая очень его борода, как лопата; недавно ее отпустил; лицо – с правильным носом, с глазами, стреляющими из прищура, когда просекаемый черной морщиною лоб передрогами дернется; юркие юморы из-за ресницы; но в криво поджатом, сухом очень редко растиснутом, скрытом усищами рте, – оскорбленная горечь.

Все то выявляло в Терентии Титовиче человека загадочного.

Он, бывало, взяв трубку из желтых усов, – на окно: в буерачищи:

– Душемутительно это: смотрите...

– В глаза не глядят: износились; мещане материи щупают.

– Как им иначе, коли подтиральная тряпка – не юбка; штанина – драгина; как зеркало, локоть.

– И задница даже зеркальная: вся!

Перелуплен карниз; мостовая – колдобина; в воздухе – многоэтажные брани; двор – дребездень; пригород же – гниловище; в изроинах поле; фронт – фронда.

Россия!

И жители Дрикова или Жебривого уж не глядели друг другу в глаза.

– Зато фортку в Европу открыли в редакции «Русские Ведомости»³: это все – для Европы-де, в пику Атилле и гуннам; зеркальная задница – против немецких манишек!

Взглянув на Терентия Титовича, становилось понятным, что – штука, что птицу в лет бьет.

– Приусиливать надо себя!

Укрывает усищами сталь, а не рот; но пускает, как блошек, свои фигли-мигли; и делает вид, – что калина-малина.

При этом он скрыть не старается вовсе, что эта малина есть мигля, а вовсе не корень:

– Эге!

– Ну-те!

– Вылечи!

– Тут – операция: и – тяжелейшая...

Видно, готовился он оперировать что-то, без речи над всей безмозгляиной перетирал сухие ладошки: до остервенения.

Раз с инвалидом, на дворике он рассуждал:

³ «Русские ведомости» – политическая и литературная газета либерально-земского (в XX в. – кадетского) направления, издавалась в Москве в 1863–1918 гг.

– Лошадина! Поди, – десять немцев убил свои видом, а вышел глазами в оленя... Обратнo Варшаву возьмешь?

– Из Москвы-то легко брать Аршаву; вот нам было близко, да – склизко; да – ух!..

– Ты, послушай, – не ухай, а пушкою бухай!

На что инвалид (глаза – ланьи, а с пуд – кулаковина):

– Чортову куклу, Распутина, мы – улалалакаем!.. Тителев:

– В плеточки плеть расплетаете: обуха ими не сломите; обух на обух; таран на таран.

И уж песенка слышалась:

«Дилим-булит пулемет:

Корпус на Москву идет».

Все, бывало, сидит; тарарыкает громко диванной пружиной, прилокотнувшись к столу.

Что-то вымыслив, выскочит.

Чем промышляет?

Скорее откусишь язык и скорей тебе нос оторвет, как от красного перца, чем промысел этот поймешь; доживает достаток, ухлопанный врозваль, – не в дом; в кошеле – не Ремонт; там накуксились кукиши; пляшет язык трепаком приговорочным; фертиком руки; словами, как пулей, садит: Убивает – без промаха: экономический, шахматный, или логический это вопрос; а Карл Маркс, Вернер Зомбарт со Штаммлером, с Мерингом (четыре тома) – томищами пыжата с полук.

И сам Фейербах, уже листанный, – там.

Подменяет дебатами книжными он материальный вопрос о домовом ремонте, о том, сколько он ассигнаций тебе отслюнявит.

Коробкин

Бывало, сухие ладошки свои перетрет:

– Этот культ ощущения под вывеской опыта, – мистика.

И бородою нестриженной – под потолок, где журавль, паутина, повешен; карман – без синиц.

Никанор же Иваныч ладонь – под пиджак.

– А по-вашему – чч-то есть материя? Весь в паутиночках: тоже – материя. Тителев снимет «материю» эту:

– Да вы не сигайте под угол: его баба-Агния не обмела.

– Сформулируйте-с!

Тителев в бороду смотрит, в лопату свою; ее цвет – фермамбуковый, желтый, ответит резонансом:

– Немыслимо определить материальную сущность в понятиях, ибо понятия – ну-те – продукты вещей.

Никанор же Иваныч оспаривает:

– Это ж Кант говорит, – с тою разницей; чч-то: он считает понятием, точно таким же, причинность; материя, определяемая эдак – идея.

Но Тителев спину подставил: блестит тюбетейка зеленая, золотцем; вдруг – впереверт: пальцы бросив за вырез жилета, схватясь за него, ими бьется:

– Материя? Это ж – понятие базиса экономического: с диалектикой спутали идеализм, сударь мой.

Указательным пальцем, как пулю, тычет:

– У вас – диалектика: где?

– Диалектика, – пляска превратностей смысла. И – в бороду:

– Пфф!

Но и Тителев – в бороду: с «пфф».

– Снова в Канта-с заехали: бросьте, – стоялая мысль; поп Берклей вас прямее.

Как мяч, языком отбивает слова: и смешно, и уютно, и – за душу дергает; фертиком руки:

– Ишь – вскипчивый; ну и скакало же, и – хорохор же: устроил мне вскоку... Опять, сударь мой, перегусты, – табачную нюхает синь, – тут развесили. Вдруг:

– Сядем в шахматы?

Или: рукою взмахнет – щелкануть; но – растиснутся пальцы; затиснется рот:

– Да, дела... А какие?

Стоит «Ундервуд»⁴; раздается звонок; появляется в шарфе небесного цвета раскрытый дядя с огромной калошей, тарашась очком, – Каракаллов, Корнилий Корнеевич: кооператор. Являлись. Какой-то Зеронский, иль – Брюков, Борис –

– иль

– Трекашкина-Щевлих,

– Мардарий Муфлончик,

– Бецович –

– иль –

– доктор Цецос; со статьей Химияклича.

И – перекуры растили.

⁴ «Ундервуд» – зарубежная фирма по производству пишущих машинок; марка самой распространенной пишущей машинки

Статистики, люди легальные, к интеллигенту и домовладельцу ходили; такие, проведя укладом, становятся желчными от пересиды и заболевания нерва глазного; держа Уховухова в дворниках, кусятся над сочинением Штирнера; это – от желчи.

Сюда ж – каждодневный заход Никанора Коробкина, брата профессора, севшего в дом сумасшедших; ужаснейший случай (в газетах писали о нем): покушение на ограбление, бессмысленно-дикое, дико-жестокое, с выжигом глаза; грабитель был же полоумный.

Так – братец: все юркает, спорит, юлит, рассуждает о брате; занятен весьма: пиджачок – коротенок: с протерами, – серенький, реденький, рябенький; штаники в пятнах, в морщинах, с коленной заплатой: сам штопал; серявый, дырявый носок на ноге: лучше даже заметить, – над каменным ботиком, а не штиблетом-гигантом, в котором нога замурована прочно; пролысый, с клокастым ершом, и проседый, ерошит бородку: ерш, ежик – колючий, очкастый и вскидчивый.

Вскочит, встав взавертъ, ногами восьмерку, легчайшую вывинтит, выпятив левую сторону груди и правой рукою заехавши за спину: с видом протеста:

– По-моему, брата, Ивана, – так чч-то, – из лечебницы брат: но – домой ли? Домой, обстановка такая, что... Яд для больного.

И ногу поставит на стул сапогом:

– Впрочем – неприятязателен брат: брат, Иван! Мы, Коробкины, так сказать, без предрассудков...

Брыкнувши ногою (со стула) – пойдет писать: диагоналями: все-де полны предрассудками, – только не мы, не Коробкины: не брат, Иван.

Никанор был во многом, как брат, брат, Иван; только: вместо ершей тормозящихся – пролысь с хохлом: верно, годы да горе лысят человека.

Он был леворукий; и был левобоким; все левое вылезло: клетка грудная, плечо; и – вломилось все правое; шея не вшлепнута, как у Ивана, у брата; на ширококостном лице из-под лбины, как пуговка, – носик.

А впрочем – как брат; брат, Иван.

Те же фьки и брыки, – но едче и метче: стремительней, ежели брат –

– брат, Иван, –

– сгинет, все – грохочет, как гиппопотам; Никанор, хоть сигаает, а – не зацепляется, напоминая морского конька, предающегося переюркам среди водных стихий: он, как рыба в воде, среди предметного мира, иль как... балерина: вприпрыжку живет.

Но и Тителев – тоже чудака: десять месяцев высидел в собственном домике наперекор Неперепреву; наискось сел Непососько.

Сидят – очень многие, но – в разных смыслах; кому это – задние мысли.

Кому – заключение.

Элеонорочка

Брат, Никанор, ежедневно являлся к Терентию Титычу.

Этот рассеянno встретит, бывало:

– Скачите себе: я-то – занят...

Фальцет «Ундервуд» дрежит.

Или, – хлоп по спине его: к Элеоноре Леоновне, в голубоватое поле стены, где повешено зеркало с круглой каштановой рамой; стекло, туалетик облещивая, отражает гребне ночи, белые щеточки, зеркальце в сереньком кружевце, густо осыпанном меленьким пятнышком, точно снежинкой; за серенькой ширмой, усеянной крапом, – постель.

А с постели, бывало, вскочится дамочка: в желтом халатике, с крапом – и серым, и черным; на стриженной шапке каштановых мягких волос полосатая шапочка цвета каштанов, растертых на пепле; а чорт – не видать, потому что из ротика выфукнет дым перевивчатый: срослые брови увидишь из дыма; в вместо лица – сизоватое облачко в сиверкой комнате.

Слушаешь струйчатый голос:

– Ты, Тира?

– Леоночка, – я: с Никанором Иванычем; он там сигал: ты бы с ним!

– Извините, такая я спаха.

И ручкой покажет на старое, черное креслице в серых, как дым, перевивчатых кольцах.

Дивана же нет; лишь подушка зеленая брошена в сизые, синие крапы ковра; ковер – карий; усаживаясь на ковер, локоточком продавит подушку; калачиком ножки.

И юбочкой кроется.

– Ляжет с опущенной шторой: валяется день; после бродит себе неумытой зашлепой; а то проработает сутки, без отдыха, – Тителев скажет.

И после:

– Сигайте же с ней!.. И – бежит.

Никанор же Иванович вместо того, чтобы сесть, ногу бросив, подтяжку подтянет; и вдруг пролетев мимо пепельницы, мимо кресел, в прощелок, и не зацепившись никак, – к подоконнику, в чахлую пальму окурком:

– Вот пепельница!

– Не трудитесь, – так что: я и – так!

И воткнувши окурком, поправив подтяжку, обратно выюркнет.

Никанора Ивановича поразила она с первой встречи же: выслушав что-то, без предупреждения, меж ножками юбочку стиснула, чтоб не отвесилась, тотчас же – взвесила в воздухе: ножки (головкой в подушку).

– Я вот что умею.

И вновь запахнувшись, – в пунцовую тальму.

– Она – неизносная: с детства! – в позы свои, свесив голову, сухонькой ручкою в сухонький ротик, зажмуриваясь, папироску засунет; и – ручкой к берету, другую – в подушечку.

– Текера, американского анархиста, – читали? И – трезво, и – дельно.

Привздернувши ногу на ногу и ногу ногой обхватив, балансирует стулом, поставленным на одну всего ножку, весьма ужасая, что хлопнется на пол со стулом.

Не падал.

Пускалась с ним в споры; но не отрываясь от спора, за полуторагодовалым младенцем своим, Владиславом, бывало, следит.

Так с ней встретился.

Точно рыдван опрокинутый

Элеонора Леоновна – очень забавна.

Почти еще девочка; верить – нельзя; развивала дву-мыслие; рот – про одно, а глаза – про другое совсем.

То дикуша; то – тихая.

Очень немногие терпят стяжение подтяжек с отбросом ноги, сбросы пепла в штаны, притыканье окурков, прожжение скатерти, ну и так далее, – то, без чего Никанору Ивановичу невозможно общение с застенчивым полом.

И мало его он имел.

Но в Ташкенте сходилась с девицею без предрассудков, – в штанах и в очках, – рассоряющей пепел себе на штаны; он на этом на всем собирался жениться; но раз доказала девица зависимость органов деторождения от фактора экономического; тогда с фырком ужасным поднялся на это на все; с «извините, пожалуйста» сел, грянь увидя меж пеплом, очками, штанами – ее и своими; с подъярзом на цыпочках, чтоб не скрипеть сапожищем, ушел; его ждали: заканчивать спор.

Человек с убеждением, – исчез он навеки.

С немногими ладилось.

С Элеонорой Леоновной ладилось – очень: дымила сама за троих; на подтяжки, на скок с переюрками, свесится личиком в вечном берете, прикурит и стелет дымок по волосикам сизеньким юбочки сизой, иль пальцами дергает пуговку очень уютно, но зло: юмор – сам по себе, грусть – сама по себе; неувязка какая-то; мысль, оковавши ей чувство, несла ее к цифрам статистики.

Осоловелый сыченыйш ее, Владислав, – не сосал, откормила сама.

Ну а прочее, – как на луне: освещает, бывало, лучами своей юмористики злой все земное, на все отзывался хохотом, с диким привзвизгом: до кашля, до слез; перегорклого ротика перегорелое горе бросалось; и ротик свой красила, чтобы не видели: маленький, горький. А крашенный – маской вспухал на лице. В плечах – зябь; руки – придержи; глазки же – с искрами: перебегунчики; поступи туфельки кошья, – до бархата.

А топоток каблучков – не поступочки ль аховые?

Но добряш Никанор любил злость, юмористику: Тителевы были злые (хоть... добрые).

Было в обоих – свое, недосказанное и смущающее, пере-глядное слово; и даже – не слово, а блеск красок радуги, но... без луча; точно азбука глухонемых: дразнит знаками.

Осоловелый младенец – нисколько не влек: такой черный и плотный; глядел исподлобья; не плакал, а трясся, сопя, сжав свои кулачоночки; Элеонора Леоновна:

– Тира, – боюсь я.

Отец, сам светляк, кинув на спину, с ним притопатывал, точно кощец; оборвавши игру, ставил на пол, бежал к своим цифрам.

Обязанность матери Элеонору Леоновну не увлекала: без ласки несла.

И бывало, из фортки, с лысастого места, бьет песней.

Часами сидят они с Охленьким, гостем, когда-то бомби-стом, себе самому отрезавшим мороженный палец; дымочек, клочая синьками в спокойно висящие волны, объятьем распахнутым вьется.

И – слушают песню.

Бывало –

– смеркается: –

– тени запрыгают черными кошками; черною скромницей из-за угла обнажает «Леоночка» глаз папироски; блеснет золотая браслетка; лицо, как клопиная шкурка: сквозное окно; черноглазый сыченыйш сидит на коленях.

И Охленький – с нечего делать:

– Мы сделали немцами. Он – обороновец.

Тителев, переблеснув тубетеечкой, выставит верткие глазики из кабинета; и – выкрикнет: прочное, жуткое слово.

– Русь – Рюрика? Что?... Не неметчина?... Самая... Штюрмер, Распутин – двуглавье стервятника.

В ряби тетеричные коридорчика – с «нет, я не русский» – вон вылетит.

Элеонора Леоновна – Владе: а пальцем – в окно:

– Штюрмер съест!

Из окошка же – оранжевый косяк, расколуленный красною сыпью, в синь сумерок снится.

И снится –

– Россия, –

– застылая, синяя, –

– там грохотнула

губерниями, как рыдван, косогороми сброшенный. Ветер по жести пройдет: в коловерть!

Перед тителевским домочком являлось сомнение: есть ли еще все, что есть здесь: Москва – не мираж? Под ней вырыта яма; губерния держится на скорлупе; грузы зданий проломают ее; Никанор же Иванович с Элеонорой Леонов-ной, с Тителевым, с Василисой Сергеев-ной и с братом, Иваном, –

– провалится –

– в яму!

И креп грохоточек пролетки.

Но дворник, Икавшев, всем видом гласил, что он – то, чем он выглядит: стало быть, все, что есть – есть таки?

Ветер сигает оврагами

Ты о весне прощечешь ли мне, синегузая пташечка?

Небо – сермяжина; середозимок – не осень, а сурики, листья – висят: в сини сиверкие; туч опльвы, – свечные, серявые, – в голубоватом нахмуре; туда – сукодрал, листо-чес, перевертнем уносится, из-за заборика взвевяши пыль.

Надломилась известка, а где – села наискось крыша; и ломаной жестью, и дребезгом скляшек осыпалось место, где строился дом; поднялись только грязи; и снизилось прочее все.

Никанору Иванычу делалось жутко, когда он, бывало, бросался отсюда домой, лупя –

– свертами,

– свертами; –

– плещет полою

пальто разлетное; потеют очки; скачет борзо под выезд пролетов и под мимоезды трамвая; цепляет зонтом, так не кстати кусающим, за руку: чудаковато, не больно; обертывались, провожали глазами его: гоголек, лекаришка уездный!

Расклоченный лист бороденочки – в ветер! На лицах – тревога и белый испуг; и –

– шаги: –

– шапка польская: конфедератка; рот – стиснут (его не растиснешь до сроку); и с ним: –

– раздерганец –

– летит с реготаньем; пола с бахромой; лицо – желтое, точно имбирь; в кулачине излапана шапка; – и – серь; скрыла рот разодранством платка; – и –

– под дом: почтальон:

– Тут у вас... А ему:

– Ты скажи-ка, – Россию на сруб? Почтальон:

– Тут у вас проживает Захарий Бодатум?

– Нет, ты нам скажи-ка, – на сруб?

– На обмен: расторгнемся!..

– Нечего даже продать...

Почтальон, – не стерпев, шваркнув сумкою:

– Души свои продавайте, шпионы ерманские: души еще покупают!

И шмыг под воротами...

Высверки вывесок; искорки первые; льет молоко, а не дым, дымовая труба; слышно: издали плачет трамвай каре-красными рельсами; в облаке у горизонта – расщепина; ясность, – предельная; даль – беспредельна.

Сверт: –

– уличный угол, где булочный козлоголосит хвостице:

– Нет булок: война.

– Не пора ли?

– А что?

– Знаешь сам! Поднималась безглазая смута –

– от очереди черным чертом растущих хвостов:

– Рот-от – не огород: не затворишь; сорока – вороне; та – курице; курица – улице; и ни запять, ни унять! Когда баба забрешит, тогда и ворота затявкают.

Бабы чрез улицу слухи ухватами передавали; как ржа ест железо, Россию ел слух:

– Нет России!

Трарр –

– рарр –

– барабан бил вразброд передрогами: прапорщик вел переулком отряд пехотинцев –

– раз, здрав, равв, рвв, ррр!

В пуп буржуя, дилимбей, –

Пулей, а не дулом бей!

Улица, точно ее очищали от пыли, замглев, просветилась; а пыль – в переулочный свертыш; и свивок, винтяся, бумажкой заигрывал; месяц, оранжевый шар, тяготеющий в небе, не падая с неба на землю, – висел.

Никанор вперевеги прохожих нырял, и выныривал: носом же – в шарф; шляпа – сплющена: срезала лоб; два стеклянных очка, как огни паровозика; под рукавами рука в руке – лед; сзади – кто-то несется очками

за ним

в перепахе: затиснуты пальцами пальцы; и – запоминает.

Ему невдомек, что он память свою потерял!

Свертом: –

– первый заборик, второй, третий, пятый; и выкрупил первый снежишко; и нет ни души!

Гнилозубов второй, Табачихинский; дом номер шесть, с трехоконной надстройкою, с фризом, с крылечком, откуда Иван, брат, бывало, бросался на лекцию.

Грибиков, распространяя воняние рыбной гнилятины, там с головиною бледной прошел.

Еле помнили: бит был профессор Коробкин два года назад, – сумасшедшим, который музей поджигал; и тогда же обоих свезли на Канатчикову; а сама проходила под окнами: серое кружево на серо-перлевом; синяя шляпа, обвязанная серой шалью, зонт серо-сиреневый, сак.

И какой-то старик к ней таскался.

Все пялили глаз на проезды купца Правдобрадина, Павла Парфеныча; штука: под видом консервов заваливает астраханскими перцами он интендантство; а брюхо? Так дуется клещ.

Кони – бледно-железистые, с бледно-медным отливом; раздутые ноздри; и – ланьи глаза.

Интересом своим переулочек жил, став спиной к допотопному дому, к которому раз проявил интерес: хоронили профессора дочку, Надежду Ивановну: от скоротечной чахотки скончалась.

Во всяком семействе – свое.

А в окопах-то?

То-то: не плачь!

Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; плющит крыши: Плющихой, Пречистенкой, Пресней –

– сигает оврагами!

Те ж статуэтки

Те ж статуэтки.

И точно лепной истукан Задопатов, Никита Васильевич, наш академик известнейший, в сереньком, – с вечной улыбкой добра возвышался из кресла и ухо котенку чесал: не несут ли ему манной кашки? И с уса висела калашная крошка.

Он к дому привадился после кончины жены.

Те ж коричнево-желтые книги пылились; с поверхности старых убранных кто-то налице мерил жильё: не профессора; пепельницы содержали окурки; за шкафом – пятно буро-черное; видно, что терли, скоблили; и нет – не затерли.

Что?

Кровь.

То же кожаный, старый шлепок на углу подоконника: им бил по мухе профессор.

Мух – нет.

– Ну куда его брать? – мотивировала Василиса Сергеевна; во-первых: Никита Васильич ходил; и – так далее:

– Ему спокойнее там.

И скучающе забормотав голубыми губами, шла к зеркалу: ей не носить ли шиньон? И косицу увертывала (это – лысинка ширилась).

– Ну, а по-моему – брать: эдак, так! – мотивировал брат Никанор.

– Он же там с Серафимой своей: как за пазухой!

У Никанора Иваныча мысль, как морской конец, ерзала:

– Поговорите-ка с Тителевым! И пошел писать: диагоналями.

Тителев этот вынырнул в разговор неожиданно; но Василиса Сергеевна думала: «Тителев» выдуман им в знак протеста, как фразы, которыми больно кололся он:

– Лоб иметь – еще не значит: быть умным...

– Кирпич написать, или – сделать из глины, – нет разницы...

– Раз бы пришел этот Тителев к вам; а то – «Тителев, Тителев»; что-то не видно его...

– А зачем ему праздно таскаться?

Тут пальцем мотая пенсне, Задопатов восстал, захромавши из кресла: он ногу себе отсидел за листанием иллюстрированного приложения:

– Довольно, друзья, – и хромал от залистанной книги к еще недолистанной; но Василиса Сергеевна его увела; вслух читала ему его собственное сочиненье: «Бальзак».

И Никита Васильевич забыл, что он – автор: не вынес себя; встал: простерши ладони, как Лир над Корделией, он возопил:

– Что за дрянь вы читаете?

А вечерами они благодушно садились за карты; и резались в мельники: сам академик семидесятилетний с ташкентским, заштатным учителем: но из-за карт вспоминали жильца этих комнат:

– Я Смайльса ему приносил!

– Незадачником был брат, Иван!

Получивши в Ташкенте письмо с извещеньем о «случае» с братом за подписью «Тителев», брат Никанор с этим Тителевым переписку завел; из нее вырастал его долг, бросив службу, явиться в Москву; и сюрприз за сюрпризом открылся; заботы-де и обстоятельная информация принадлежали не Тителеву, а весьма состоятельным читателям брата, профессора, не пожелавшим открыться; он, Тителев, есть подставное лицо для сношений: в Ташкент

были высланы средства; мотивы же вызова – тайна открытия брата и связанные с ней заботы, которые и поручались; Терентию Титычу и Никанору, ему.

Телеграммою вызванный, он появился: полгода назад но узнав кое-что об ужасных подробностях случая с братом блеснувши очком, резанул:

– Так...

– Чч-то...

Перевернулся, подставил лопатки; и – трясся, стараясь скрыть слезы: но тут же, собой овладев, неожиданно:

– Дифференцировать, еще не значит...

Очками блеснул он; себя оборвал; и ходил гогольком будто случай его не касается; он объяснял всем домашним – профессорше, Ксане Босуле, курсистке, поэтке-заумнице, Застрой-Копыто, что-де собирается в банке служить ждечь вакансии и пока что – околачивается.

Босуля, Копыто, – жилички профессорши.

Тителев взвинчивал:

– Вы уж до сроку держите язык за зубами: коли посягательство на мировое открытие, – что тут...

Сразил Никанора!

Последний, аршин проглотив, был готов заговаривать зубы себе самому; но заметим же: он, выбирая моменты, общаривал пыльные полки, расхлопывал толстые томы и листики, в них находимые, тайно к Терентию Титычу стаскивал, но не вводил Василису Сергеевну в занятия эти; он ждал, когда следствию собранная им коллекция листиков будет дана; это будет тогда, когда брат, – брат, Иван, – с восстановленной силою явится первым свидетелем.

Он – выздоравливал; и Никанор приставал к Василисе Сергеевне:

– В лечебнице брат, – брат, Иван, – как бумага на складе: сгорит.

Раз придрался:

– Бумаги – сгорели ж!

Свалили бумаги наверх; они – вспыхнули: сами собою; пожар потушили.

– Поджог!

– А кому есть охота палить – антр ну суа ди – эту пыль!

Неприятною дамою стала профессорша. Скажем: «поджог» относился к подробностям, – тем, о которых:

– Держите язык за зубами: до сроку. А он не сдержал языка.

И поэтому за Никанором Ивановичем в этом пункте последует автор.

У Зинки, уфимки...

Где сверт перед площадью, сеном соримый, шарами горит Гурчиксона аптека; и рядом грек Каки года продавал деревянное масло и губки, лет двадцать гласит: –

– «ЕЛЕОНСТВО» –

– почтенная вывеска с места того: «Мыло, свечи, лампадное масло, крахмал»; и само Елеонство сидит за прилавком, пьет чай с постным сахаром, мажет сапог русским маслом и дочь выдает за купца Камилавкина (сын тысяч семьдесят за Христомучиной взял); Елеонство недавно еще подписался с купцами соседнего ряда (Дрео-линым, Брисовым, Катенькиным, Желтоквасовым) под монархическим адресом.

Далее, свертом, – заборик; и – двор, где жил форточник и видел фортку из дома, стоящего задом к забору; к ней крыша вела; от нее – ход к забору на свалени дров; дряни форточник тибрил; но тибрит в районе прописки нельзя, потому что здесь тибрит захожий.

Но мучили зубы; ходить – далеко; фортка – рядом; от дров – по забору, по крыше, к окну; кладовая для всякого хлама – лафа (многоценные вещи – грабителю); вылез, пролез, перелез, заглянул; и увидел, что – дряни.

Как вдруг отворяется дверь; и – в исподней сорочке какая-то: в комнату; он же – под фортку; едва прищепся, выглядывает: что же? Барышня, соры полив, спичкой – чирк!

Человек, на такие дела не способный, он чуть было не:

– Караул, – поджигательница!

С крыши – в садик чужой; и – под куст; дым из фортки, света, голоса; а назад – не улезшь: народ; по чужому двору, в Табачихинский; дом тот заметил: дом шесть; прямо за угол; так в Палестины родные вернулся; весьма не мешало в участок сходить, где он числился добропорядочным, с правом прохода сквозь фортки, – в районе от Крымского моста.

Коли донести, пристав скажет:

– Такой-сякой: значит, под форткой в районе моем ты сидел; так и быть уже: у Нафталинника лазай, в кондитерской; чтоб у меня!..

Все же справился: что и какие... Сама (сам сидит в желтом доме), да шурина, да барышни (комнату сняли, мудреный народ).

– Поджигательницы!

Коли встать на дрова, виден садик, террасочка, форточка и мостовая с напротив домочком, откуда два года назад к Селивицыну в угол вселился известнейший всем карлик Яша, рехнувшийся.

Все-то с рукою стоит на Сенной.

Вечерами же песни немецкие жарит; за песни такие народ убивал, а с блажного не спрашивали; передразниватель, Фрол Муршилов, на свой, иной лад, переигрывал песни.

In Sunde und in den
Genuss gehn wir afb
Zum sinken, zum finden
Den traurigen Grab.

Муршилов – сейчас же:

Изюму да синьки
За узенький драп –
У Зинки, уфимки,
Татарченко: грабь!

– Жарь, Муршилов!

С карлишкой форточник в дружбе; ему и открыл этот случай; карлишка же:

– Готт!

Да и Жонничке, горничной Фразы, «мадамы» сенатора Бакена (наискось от Гурчиксона жила); Фраза ж...

Словом, забрали, допрашивали, собирались упечь, отпустили:

– Помалкивай: не твоего ума дела.

Карлишка исчез. Слух пошел, что он служит в раз ведке.

Неясно; как Тителев это узнал и какие такие сношения с жуликом?

Выход единственный

Тителев смачно замазывал окна: стаканчики с ядом, замазка и вата.

– С чем скачете?

Выложил: братъ, а – куда? На квартиру? Никите Васильевичу на колени? В отдельную комнату?

Тителев с перетираньем ладош плеском пяток затейливое винтовое движение вычертил, а Никанор сапожищами диагонали выскрипывал.

Снять, – так два случая: неподходящая комната; и – подходящая комната; коли не снять, тоже – два; значит – шесть вероятных возможностей.

– Неподходящая комната, – пяткою вышлепывал Тителев, – и – подходящая комната.

Твердо на локти упал, подчеркнув невозможность найти помещенье; и – светлым пятном, точно солнечный зайчик по стенке, он вылетел; с папкой обратно влетел, бросил папку, – чертил, херил, бил и хлестал по ней пальцами; вдруг оборвал; и жилетом малиновым бросился:

– Ну, а по-моему, коли снимать – у меня: флигель пуст.

И повел прямоходом чрез копань: под флигель, к охлопочкам пакли; и видели: лаком флецуют, фанерочками обивают; и есть электричество.

Тителев что-то рабочим твердил, по фанерам ладонью веда; Никанор же Иванович думал:

– Три!.. Но – сыроваты, без мебели; всякие – ну там – харчи-марчи выйдут; да и крышка гроба, – не рама при двери.

Как хины лизнул!

Видно, Тителев это весьма деликатное дело простряпал давно в голове, потому что обмолвился им, как решенным:

– Мне – что: даровые; не я оплачу: поручители; я получаю работки: статистику всякую, – ну-те!..

Какие работки, коль сиднем живет!

– Поручители – препоручили: эге! Мне и некогда. Вдруг:

– Церемонии – в сторону; выход единственный – дан: шах и мат!

Никанор же Иванович двинулся армией доводов: пенсии явно не хватит; квартира, прожитие: при Василисе Сергеевне; да – здесь; да – сиделка. Все духом единым, чуть-чуть обоняемым, луковым, выпалил: сесть на шеях у вполне благородных, допустим-таки, псевдонимов...; всучившись в карманы и ногу отставив, его доконал независимым видом.

Но Тителев крепкие зубы показывал:

– Гили-то, пыли – на сколько пудов разбросаете мне, Никанор?

И как плетью огрел:

– Коли выписал вас из Ташкента и высказал ряд оснований несчастье с братом считать угрожающим – есть основания мне поступать – так, как я поступаю, а вам поступать – так, как я предлагаю... Пошли?

Разрываяся трубочным дымом, как пушечным, – в копань шагал; Никанор же – в протесты.

И липа у дома оплакала: каплями.

Когда вернулись, Тителев о переезде – ни звука; он чистил бензином свои рукава: перерзаны.

Тупо в гостиной забили тюками; а – нет никого.

– Вы – не слушайте: дом с резонансами... – Тителев морщился. – Сядемте в шахматы?

Вдруг, отзываясь себе: в рукава:

– Основательная перегранка нужна: переверстка масштабов... Так, – брат, Харахор?

«Харахор», вставши взаверть и вынюхав кончик бородки, пихаемой в носик, – восьмерку ногами легчайшую вывинтил, пята всю левую сторону груди и правой рукою захавши за спину; бросился из дому –

– свертами!

Бросив курсисточку, кинулся он под трамвай: сам едва не погиб, пролетевшись по свертам, кидался сквозь уличный ряд; и кидался за ним через уличный ряд –

– кто-то –

– свертами, свертами!

Митенька

Горничная, Анна Бабова, дверь отворила корнету, его пропустив в локтевой коридор, дрябневший заплатою:

- А?
- Ездуневич!
- Го!
- Ты – брат?
- Чорт!
- Я – брат!
- Гого!
- Брт... Чрт!

Так чертыхался в верблюжьего цвета исподних штанах, под подмышку подтянутых (видно, изделия из офицерского общества, что на Воздвиженке), – Митя, профессоров сын, здоровяк: рожа ражая; дернул рукой на верблюжьего цвета штаны свои:

- Так вот на фронте мы! И – за сапог.

На побывку вернулся с корнетом, с приятелем: «йгого-го, Ездуневич» да «игогого, Ездуневич»; и пахнул весьма: сапогом, табаком; неуверенно громким баском еготал о проливах, о чести военной; совсем трубадур! Из корнет-а-пистона, который с собою возил, вечерами выстреливал – режущим скрежетом; а Ездуневич пощелкивал шпорой, – пришпоривал шутками; он же стихи писал (но потихонечку) вроде подобных:

Невинно розов и влюблен,
Над мраморного лестницей
Отщелкает мазурку он
С веселою прелестницей.

Здесь поселившись, пришпорил за Ксаной Босулей, курсисткой, подругою Нади, которая после кончины последней сняла ее комнату вместе с подругой, поэткой-заумницей, Застрой-Копыто; и можно сказать, что профессорша с Анною Бабовой, толстой прислугой, укупорились – кое-как; Митя с другом – сам-друг; с Никанором Ивановичем заночевывал дряхлый Никита Васильич порою.

Хотя б один Митя: походкой уривистой все-то бродил, затолкав их; он производил такой грохот, как будто четыре копыта тут били; передние – в пол; а два задних – о стены, и все от него: в нос несло табачищами; в глаз лез погон; в ухо била армейщина.

Рапортовал он – о полчке с фронта, с которой он будто бы...

- Чрт!
- Брт!
- Гого!
- Игого!

И выстреливал режущим скрежетом под потолок из корнет-а-пистона.

– Патриотизмы, рромантика!.. Армия наша сопрела в окопах... Все – полчка: с фронта, – ему Ездуневич.

- Гого!
- Игого!

– Рррв... ррра... ррравый, – в окне раздавалась какая-то рваная часть: неохотой шагать двумя стами тяжелых своих сапогов.

Никанор же, на все насмотревшись:
– Сюда брата братъ, – дико; даже – немислимо!

Шамканье

Первые дни октября; мукомолит, винтит; буераки обметаны инеем; странно торчат в свинцоватую серь.

Почтальон – из ворот; он – в ворота; и – видит он: Элеонора Леоновна бегаёт по льду в тоненьких туфельках; носом – в конверт василькового цвета, с печатью; и юбочку темную с розовым отсветом выше колен подобрал, – озирается; в очень цветистенькой кофточке сизо-серизовой: с пятнами рыжими, с крапом; она, как цейлонская бабочка, – в крапе снежинок.

Но как же размазались губы?

– Эк!.. С гриппиком вас поздравляю: простудитесь!

Тителев, в шапке-рысинке, в своей поколенной шубе-ночке, – вырос в подъезде – с «Леоночка, – ты бы обулась!».

Тут, –

– синие листики в скомок: за юбочку; –

– два пальца в рот,

как мальчишка, махающий через забор за соседскою репой; и – свистнула.

А – про письмо-то, письмо ему?

Тителев мимо прошел.

Тогда вынула листики, на буерак ткнула глазками: в спину:

– Ему – ни гугу!

Безо всякого – юбочкой: фрр! По ступенькам; и прежде, чем он, – обернулась, язык показала: такая «мальчишка»!

Такая коза!

Серебёрнь!

И как шапками сахарными, пообвисли заборы.

С Икавшевым, мырзавшим носом, они, взяв по ломику, в руки себе поплевав, – с ударением, враскачку: о лед! А подумалось: мужу она про письмо – хоть бы что? Без стыда! Она – дикая кошка, но с бархатной лапкой.

Набросит на сталь лезвия, чего доброго, тальму свою; и предложит ему посидеть на ней. Вскочишь!

– Работа славнецкая! – Тителев ломик подкинул. В испарину бросило.

Вдруг ему Тителев:

– Мебель заказана: можете переезжать; харахорику бросьте; смахайте домой; и – валите сюда с чемоданчиком; пока ремонт – забирайтесь ко мне: на чердак; он, – чердак, – не дурак.

И запрыгал с захожей собакою: шелк да пошелк!

«Собака!»

Собакарь!

Это место – лысастое!

Осенью не городской, не людской – деревенский здесь шум от деревьев, чуть тронутых, или – еще от чего? И уже – вырывается: и выше выпри глаголит, как... шамканье страшных старух.

Это – шаркает шаг с бесполезным бесстрашием сердцебиенья, – шаг –

– смерти, –

– в давно не сметенные листья,

в давно безглагольное сердце: под вывизги рыва планеты швыряемой.

И, – с бесполезной жестокостью больно катаемое и усталое сердце, – разрывчато бьется.

Ты ищешь чего же, душа моя? И ты чего надрываешься, под колесом Зодиака, песком засыпаемая? Здесь все то, что ищешь, – костенеет. Здесь –

– домовладелица –

– Психопержицкая –

– и Непососько – отслюнивают ассигнации. Шелест их слушаешь ты.

Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет, что в деревьях, чуть тронутых, шаркает шаг пешехода на Козиев Третий, что ветер с возвышенной лыси отчесывает взвивы пыли, охлестывает пустоплясом песков, вырывааемых из буераков –

– плешивую площадь –

– с заржавшим трамваем!

Так – что!

Не попрешь на рожон: с чемоданчиком притарарыкал; и – сел к ним на харч.

«Перевезенец наш»

– Перевёзенец наш!

Повели на лысатое место, откуда винтил пустоплясь дуновеньем окраин; смотрели на пригород; как перехвачен он балками; слой пылевой, где обоз ползал издали; медное небо и бледное поле.

И сирая, синяя Русь!

Отобедали: луком томленным несло.

Позвонил Тиссертацкий: с короткой бородкою, но без усов; обвел каменным глазом; и выбритый череп пронес монотонно в гостиную.

Сколько было здесь, именно здесь, пережито впоследствии!

Входишь, – и тотчас снимаешь очки, потому что – рябит: рои черненьких мух, как охлопки жженой бумаги, на каре-оранжевом выцвете – вьются винтами в глазах.

Это – крапы обой и горошины желтых протертых кретончиков кресельных; ржаво-рыжые шторы; их карие крапы; и – пляска предметов: дешевеньких, ношенных, замути зеркала; скос его рамы; растреск потолка обвисает лохмотьями сметанной копоти; ящик под лапистым ситцем; китаец качает фарфорового головою на яркий пестрец, на китайские лаки, на синие птицы, на всю эту старбень; пол – крашен под рваным ковром, на котором затерты рябиновые, голубые и ярко-зеленые лапочки.

Элеонора Леоновна аховым взглядом следит (с раздраженьем) за действиями Никанора Иваныча, севшего к пепельнице и копающего пережиги листков, не дожженных дотла; вот он вытащил синий задырыш; и силится буквы прочесть.

Любопытно: «пше-вже» получается.

Тут он глазами наткнулся на глазки: как радуги!

Пальчик она приложила ко рту; и – пустила дымок, перевивчатый, легкий; прошла сквозь него; повернулась, – какая-то вся возбужденная.

Вдруг, ухватив рукоять разрезального ножика, вытянув шею и вытянув руку, она острием проколола пространство пред носом подпрыгнувшего Никанора Иваныча.

Разумеется, – в шутку.

– Леоночка, брось-ка ты ножик!

Бубнил Тиссертацкий про синие лица солдат, про трахомы, которые распространяются противогазовой маской; а черные крапы садились мушиного стаей на стекла очков Никанора Ивановича; по каким-то своим перемигам между Тиссертацким и Тителевым выяснялось, что он, Никанор, им мешает, что именно в пятницу частное здесь заседание статистиков; и зазвонились: Зеронский, Трекашкина-Щев-лих, Мардарий Муфлончик и доктор Цецос.

Никанор же Иваныч пошел: затвориться; постельной пружиной скрипел: без огня; кавардачило; мухи летали в глазах, а сквозь них – синелицый солдат в черном шлеме расстреливал облако хлора.

– Ну и разговорчики же! Сон укачивал.

И, –

как –

– под ухами бухавших пушек, – привзвизги разбитых дивизий!

Но это пыхтело и фыркало: под полом; и, разбиваясь на дрызги –

– дивизий, –

– дрежжал: «Ундервуд».

– Непокойный дом: дом с резонансами!

Дом с резонансами

Бита мастистая карта, которой рука Никанора Ивановича собиралась ударить...

Как?

– Тителев, Тителев!

А переехал, и Тителев стал – «тилилик»; чудеса в решетке, как сказал духовидец!

Воспитанный Бюхнером⁵, сам нигилист, невесомостям сим в решетке он не верил, а яйцам, в нем спрятанным; как они сквозь решетку могли просто утечь в его мозг головными абстракциями, чтоб из уха вторично родиться?

Он слышал:

– Тилик... Тилилик!

Стрекотало, тиликало.

Элеонора Леоновна на ночь умеркла; Терентий же Титыч, в халат запахнувшись, со свечкой стал «ничто», с той минуты, как он пожелал доброй ночи под лесенкой; Агния-баба – храпела.

Не червь древоточец ли?

Ухом прилипши к стене, он открыл слуховую вторую действительность; есть ведь в домах абберрации⁶, приоткрывающие разворохи далекой квартиры, коль ухом случайно коснешься стены.

Как ударится:

– С кем ты спала?

И в семейную драму уткнешься: вопрос только – в чью?

Мой вопрос к архитектору:

– Вы, гражданин, понимаете ли, что у вас – телефонное место, откуда все то, что страдает и любит, проходит в ушную дыру через пар отопления? Взяли ли вы на учет этот факт, гражданин?

Переюркивая по стене, ловил звуки он: перебитные, с прохватом молчания; и ухом нащупал он центр звуковой: голос, перебиваемый сипами, шлепом шагов, дрекотаньем машины, жужжанием валиков, передвиганием косных тюков; вместе взятое – ревы далекого мамонта, быющего хоботом в камень веков.

Сердце ёкнуло в нем, когда эта действительность стала поступками, если не шкурой одетых людей, обитающих в каменном веке, то шайки отпетых мошенников, вышедших из-за репейников. Тут он –

– в исподней сорочке, –

– босыми ногами, –

– на пол,

чтоб осиливать лестничный винт над ничто, о которое нос обломаешь, – ползком, как оранг, помогающие в беге себе парой верхних конечностей.

Слушал густое молчание, перебиваемое всхрапом Агнии.

Так он вторично влип в стену, чтобы выслушать ревы с пилением ребер Терентию Титовичу; и не выдержав этого, ринулся с лестницы, пав, как на меч, охвативший его броским светом, стреляющим из приоткрытой гостиной, откуда услышал – падение попеременное гирь, –

⁵ Бюхнер Георг (1813–1837) – немецкий писатель, драматург, политический деятель.

⁶ Абберрация – отклонение световых лучей под влиянием скорости движения Земли (астр.); ошибка в ходе мысли, случайное заблуждение.

– а не –

– треск половиц под подошвами тяпавшими: –

– пуча каменное, налитое страданием око и бросив пред пузищем ярко-красную кисть, из которой клевала зажженная свечка в проход, –

– прочесал толстопятый толстяк; лицо с зобом, болтавшимся, перекошилось от муки бросания толстого брюха; скакала в плечах седина, когда он прочесал коридором; и сообразилось: взгляд – умницы; вид – композитора, может быть: выбритый, розоволицый, в коричневой паре.

Чернило, не кровь, – на руках!

Никанор же Иванович – в угол, чтоб срам голоножия скрыть: еще скажут, что крадется он с ферлакурами к бабушке-Агнии.

Тут же был пойман с поличным Терентием Титовичем: пятно голубоватого спенсера бросилось прямо из двери, со свечкой в руках; и – с тючком перевязанных накрест бумаг.

– Вы?

– Я.

И с перепугу он выпалил: просто неправду:

– Желудочный кризис.

И пяткой прошлепал в уборную.

Тителев выждал, укрыв выражение глаз в разворошенно желтую, бразилианскую бороду.

– Попридержите язык пока... Шероховатости, – верткие глазки проехали в рябь коридорчика, – шероховатости всюду.

И, перевернувшись, бежал в кабинет. И бежали за свечкою зги. И стопа толстопятая: тяпала.

Еле осиливши лестничный винт, кое-как влез в штаны; мозг – враскоп: муравейник; дерг жил, дробил пальцы; и – туки сердечные; этот страдавший толстяк, пробежавший из стен и ножищей своей трепака отчесавший как бы в тарарыке машинного грохота – сон, отщербленный от смысла?

А Тителев – сон?

– Придержите язык, –

– было сказано, было воспринято твердою памятью, трезвым умом; кто он? В прах перетертый, чтоб с пылью московскою – выметнуться: из ума и из памяти?

Топы: он – в дверь; и – над лестницей свесился: это – толстяк, прочесавший в уборную.

К фортке, – проветрить себя.

Переискры огней из молчанья: вдали.

И, – как перепелиные крики – куда-то, откуда-то: в ночь.

Взлопоталася липа: под домом.

Шаги; фонарек закачался; Акакий Икавшев под ним; и – Мардарий Муфлончик; в руках у него чемоданчик; к глухому забору пошли – буерачком; там фонарек постоял; и – вернулся; Акакий Икавшев вернулся; Мардарий Муфлончик исчез с чемоданчиком.

Чудо?

– Где яйца? Спрятаны!

Вновь, как перепелиные крики, из ночи в ночь за переискурами слышались.

Утром пролеточка, затараракавши, встала в воротах; он слышал два голоса: доктор Цецос и Трекашкина; стало быть, – заночевали: где?

Что они делали?

Тителев – темная личность, скрывающая атамана фальшивомонетчиков и приложившая руку: к чему?

И себя оборвал: усомнился.

Как, Тителев?

Тителев – умница: полки, набитые Марксом; за шиворот выволок из Туркестана; глаза открывал на шпионскую организацию; все это – так; и, однако: в компании с этим отпетым мошенником.

Вспомнилось, – у Честертона⁷ описано, как анархисты ловили себя, став шпиками; и как полицейские, бросившись в бегство от ими ловимых персон, – настигали: бежали, все вместе, – по линии круга.

Что ж, мина доверия, – крап, передержка, чтобы, усадивши в репейники брата, Ивана, с открытием, –

– брата, Ивана, –

– похерить:

открытие, – брата, Ивана; и – брата, Ивана! Тут – корень всего!

А насильственно вырванное обещанье молчать – паутина, которую выплел толстяк.

Осторожнее, брат, примечай!

Остается единственно: бегство – раз! С братом, с Иваном, – два! Повод? Его подыскать. А Ивану в виду обстоятельств подобного рода – продлить пребыванье в больнице; пускай там сидит; Никанор – сядет здесь; усыплять подозрения; вот положение: преподавателю русской словесности – сыщиком сделаться!

Что это значит?

Разыскивать след толстяка из гостиной; и – стало быть: эту гостиную взять под обстрел; во-вторых: изучить тот участок забора, куда уводил фонарек, где Мардарий Муфлончик из твердого тела стал – газ испарившийся; и в голове – рой стремглавых решений; вот только: харчи-то марчи; он на ихних сидит; и за ними ж подглядывает? Как же может он эдакую негодюину вымочить?

Вымочит: долг в отношении к брату ведь – есть?

Есть.

Так – вымочит!

Сухость сказалась с катанием воринок-глазок, когда поздоровался с Элеонорой Леоновой и отошел полистать преддиванный альбомчик; сигнув коридорчиком, носом – в гостиную: там – не толстяк?

Не толстяк.

Ну-те!

Элеонора Леоновна шла одеваться; Терентия Титыча не было; ерзает, видно, с фальшивой монетой своей.

Сиганул он в гостиную, странно оглядываясь; и рой мушек, как хлопья, на фоне рыжавого выцвета вился, так докучно жужжа, пока комнату он на коленях не выползал; носом – под ящик, под кресла; исследовать нечего; след негодяя – не видим; следы таракана открыл; неприятная комната – с мухами, с копотями над рыжавым кретоном.

Вдруг – шарк.

⁷ Честертон Гилберт Кит (1874–1936) – английский писатель, поэт, эссеист.

Пристыдил карапуз, Владислав: он приполз на карачках и трясся перед тараканами в пороге.

Едва ли не стал объяснять карапузу, зачем он тут ползает, но успокоился, этому не до него: что за гадости, – он придавил таракана!

Теперь – в буерак!

Переюрк

И закапали желчи на смоклую крышу: под оттепель; свистами сносятся сурики, листья; и крукает воздух сырой: воронье улетает над сиплой осиной сквозь синюю просинь: неясною чернью – в неясные черни.

На лысый подхолмик привстав, опустился в колючие кучи репейников, в сrostени кустиков; цапкие лапки раздвинув, ощупывал доски забора: высок; и ясно, что не осилил Мардарий Муфлончик железные зубья; здесь след; здесь стояло весомое, твердое тело; здесь стало оно невесомым и газообразным; ага, – доски спилены: на перегибах гвоздей еле держатся, – две; отогнув, обнаружил проход в переулочек:

– Ловко!

И – нос в Гартагалов: пустой, так что можно нос выставить –

– юрк,

– переюкр, – выюкр,

– выюкр, –

– под защиту доски, потому что пред тумбой, спиной на нее, лицом – в прорезь, стоял офицер с бороденочкой рыженькой, с присморком, при эксельбанте⁸; и шпорой брэнча, свежей лайкой, белей молока, папироску выбрасывал; глазки, как рожки улитки, наставились на Никанора Иваныча с юмором: интеллигент на волне европейских событий в дыру за «проливами» лезет; что ж, – стреляной дичи не мало.

Ага, – не пролезешь!

А знать интересно, как выглядит эта лазейка снаружи; и гвоздь повернув, – и гвоздь повернув, –

– через Козиев Третий: –

– не сыщик – артист!

Но у входных ворот – в офицера, того же, – шляпенкой своей:

– Извиняюсь!

Опять офицер усмехнулся: де интеллигент – куда прет? Да и многие перли: за Львовыми⁹, за Милюковыми: выйдут в тиражи, за Врангелем, – в Константинополе!

– Вовсе не стоит переть, – упрекнули глаза офицера; он носиком, с присморком, вынюхал: к Фэфову перевозили капусту.

Всей статью знаком офицер.

И еще раз сцепились глазами:

– Вы ль это, Иван Никанорович?

Сухо Иван Никанорович скажет в ответ Никанору Ивановичу:

– Извиняюсь, – какой я Иван Никанорович! –

– чтоб не случилось

подобного казуса, частого в практике встречи с незнакомцами, принятыми за знакомцев, он – прочь, гребанувши рукой, на крутейшем винте переулка за изгородь, – дернулся на Гартагалов; и там под лазейкой поюркал, косясь на нее: доски – здорово пригнаны.

Вновь, загребая рукой пустоту, на крутейшем винте неся в – Козиев Третий; за ним, загребая рукой пустоту, кто-то неся, о ком мне не стоило б упоминать: паразитики, таксой оплаченные, или – шубная моль; вьется, – хлоп ее: нет; только желчь золотится на пальцах!

⁸ *Эксельбант* (неправ.) – аксельбанты – наплечные шнуры у штабных офицеров, адъютантов, жандармов.

⁹ *Львов* Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, крупный помещик, кадет; с марта по июль 1917 года – председатель совета министров и министр внутренних дел в буржуазном Временном правительстве.

Где винт загибает на дом, номер два, из ворот – разодетая дамочка; широкополая шляпа грачиного цвета с полями распластанными, как грачиные крылья; и – черное, током, перо; и закрытое черною мушкой вуали лицо; офицер, цокнув шпорами, локти расставивши, – к ручке: мазурку отшпорить.

– От нас, а у нас – никого, я же, – только что йз
дому!

Холмсом: за ними; –

– кто-то – за ним –

– разглядеть эту дамочку!

Стриженная; волосы цвета темных каштанов; как в ма-сочке; губы на полулице ее слишком знакомо припухли; безглазо разъехались.

– Как-с?

С этой «каксой» – назад, меж собою и нею, поставив заборик, – шагах в сорока: и – шагах в сорока от него, точно так же, назад, между ними поставив заборик – очки: без лица; носом в шарф, задвигаясь полями – без «каксы», но –

– с «таксою».

Безымень

– Как-с? – относилось к открытию в дамочке Элеоноры Леоновны.

Степку-Растрепку ломала она из себя; а, скажите пожалуйста, – в эдаком блеске!

Следя за супругами, он не сказал бы, что спрятан в репьях офицер, что он ходит торчать под забором, что так вылетают к нему: удаляться куда-то; и – при-пере-при-оттопатывать: –

– при-пере

– при-пере –

– прр

– фрр –!

И – вывинтили в Гартагалов; пошли писать; задроботал офицер, точно шелком мазурочным; и с топоточками, выпятив грудь, пируэтцем бойчил Никанор; и бахромышем, точно репейником, перецеплялся он.

Смутные смыслы рвались в подсознание танцующей ассоциацией над здоровой правдой, чтоб жуткими пульсами тукать – так точно, как бледная светлость редевших деревьев самосветом выхватывалась и растрепывалась, чтобы дождики листьев танцующих все покрывали, и всюду сквозь ноги прохожих летели взвезаемой желтою массой.

Рывом в скорозлые слякоти, в скороспись листьев помчались все трое под домиком дикого камня; церковная, белоголовая башенка: улица первая.

Вот галопада!

Ездишка; бежит безалтынный голыш; битюга бьют в ноздрю; и – селедочный запах!

«Они» – впереди: в перетблк; офицер перед дамою локтя не выпятил; не офицер с ферлакурами; дама – не цель; оба – средства.

Сверт: –

– вляпан в пихач, берендейкой, локтями, пихаемой; все – скоробранцы: они – стародранцы; и краповый ситец, и пестрый миткаль¹⁰, и – столб башни; взболтнулось шагами, подгрохотом, шарками, ржаньем коней и трамваями; автомобиль, точно бык, бзырил издали.

Как останавливались друг пред другом с поджатием и распрямлением рук, как неслись в перетолки потом: не интрига хорошенькой дамы, не флирт офицера, а дело, связавшее их: против воли!

Отстал, снял очки, став таким слепооким, усталым; и тут, их утративши, –

– эк, слепедряй, –

– взаверть,

– в цыпочки –

– боком, –

проюркивал: легкими скоками.

Улица третья!

Свернули в кафе под огромною вывеской: «У Сивелисия»; ожесточаясь очками, он – к стеклам; свет – пущен: вот старец безвласый – за столик: пальто – цвет сигар; вот к ближайшему столику Элеонору Леоновну рывом ведет офицер; и навстречу им рывом встает сухошавая барышня в великолепиях; с плеч – соболя, в кошках, с хвостиками; а стеклярусы бьют – водопадами; волосы – белые, стрижка – короткая; вздернутый носик; по-видимому, – иностранка.

И – Элеонору Леоновну ручкой усаживает.

Офицер с эксельбантами, слева не сев, а сломавшись, на столик руками упал, чтобы слушать, как барышня эта чеканит головкой и сжатыми бровками (крепко, должно быть).

Вдруг Элеонора Леоновна –

¹⁰ Миткаль – самая простая и дешевая хлопчатобумажная ткань, ненабивной ситец.

– с перекосившимся диким испугом, с оскаленным ротиком – вскакивает!

Тут он носом – в блистающий лаком «такси»; столб бензинового дыма, как тяпнет скрежещущим шипом; подпрыгивает и выписывает легкий росчерк ногой – перепуганный брат, Никанор.

А? Машина?

Для барышни?

Новая, чищенная; и шофер парикмахерской куклой сидит, обвисая рысиной; из сизо-багрового облака лепится хмурь; сухо сумеречит; синей видится сивая лошадь с угла.

Куда деться?

И шарки, и бряки; топчут в притоны: там песнями сипнуть; безгласные бряки; и мир – безвременствует; все – сели в пропасть!

Беспроким галопом несется обратно: –

– беспроко бежит за ним –

– бёзымень!

Судьба толстопятая

Под изгородливым местом дворная собака, вцепившись зубами, ему лепестила пальто; едва вырвался в Козиев он.

Вышел Тителев, став узкоглазым и бросивши в воздух ладонь.

Никанор же Иванович, ожесточаясь очками, – к ладони ладонью, – с отвертом, с поджигом, с прохватом молчания, без «тарары», возникавшей меж ними, – с посапом: в усы!

Друг от друга они – наутек; этот – на чердачок; этот, с кепкой в руке, – в буерак, в теменец, в темно-бурую ночь.

Как медведь, она – лапит.

Везде людогрыз!

Отношенья людские – измарчивы; и – как зыбучий песок; то насыплется куча, то – вытечет: сквозь решето!

Отбивал чердачок каблуком; жить приходится – с татями!¹¹ Что ж, – коли надо: для брата, Ивана; Иван, брат – беспомощен.

И в толстолобые стены раскашлялся он: до привзвизга; стой, брат, Никанор, под судьбой толстопятой, свой пост защищая и тая от потов ночных! Видно, – туберкулез вскрыт кавернами¹²; сердце застучало: ту-туту.

Топала –

– туком –

– судьба толстопятая!

Элеонора Леоновна! Вы ли?

Леоночка! Ты ли?

Перо шляпы – набок: растрепанная; весь изыск, как на палке повис; не нарядная дамочка, – выраженный шут гороховый, с личиком, точно с клеймом, раскривленным следами позора и злобы, и пересинелым, с губами, размазанными красной краской, глотавшей слезинки.

– Ты, Тирочка?

Тителев из табаковки набитой шепоть табаку урывнул, свирепейше вдакнул ее в трубочку; трубочку – в рот; и – в разрывы табачного дыма:

– Леоночка!

А из-за дыма не глазиком – глазом расплавленным-, тяжеловесным топазом:

– Ты что?

Она ручками, как не своими, а крадеными, искромсала перо снятой шляпы; и – переюркнула: на ключ; головою – в подушку: медведь темно-бурый, как мгла косолапая, лапил.

В темки заиграли: все трое!

Ночь, полная собственным словом, которого днем не услышишь, – слепцово безочье, – разорвана в клочья!

Тень, – в день обледенно смаяясь, села в щелях: косяками; уже выглавлились беспрокие сутолочи всех предметов: из слабых объятий склоненных теней; выглавлилась постель белоснежной подушечкой; –

– личико синее – с ручкой, воздетой и выброшенной лезвие, засверкавшее над занавесочкой в сивые рыжины туч.

¹¹ *Тать* (стар.) – вор, грабитель.

¹² *Каверна* – полость, пустота, образующаяся в органических тканях вследствие отмирания их.

Лезвие разрезального ножика сверком своим прокололо подушечку смятую.

Чорт вас дери!

Утром выскочила разбитной и вертлявою девочкой, смехом икливим стараясь стереть впечатления.

Тителев неоткровенно борзил перебегами глазок с очков Никанора Иваныча на безответицу... даже не глаз ее; видел в себя убежавшую бель да круги сине-зеленоватого личика с ярким раздергом безглазого рта.

Никанор же Иванович, навись сев, сеял табачные встрехи, смекая, что Элеонора Леоновна –

– тайно была на свидание с барышней приведена офицером; и это – комплот против, гложет быть, мужа; и – каверз его; ей, пожалуй, довериться можно, чтобы ей –

– эдак-так, – приоткрыть!

И – так далее.

Тителев, от двоемыслия, – в дверь.

Никанор, –

– эдак, так: –

– де болезни есть разные; зоб-де растет; толстякам неудобно – и эдак, – и так, – коль утек под заборы от глаз полицейского – жизненный модум фальшивомонетчиков; – все, разумеется, тонко: намеками!.. –

– Элеонора из желтой, сквозной своей шали подбросила ручку в берет, и вертела своей папиросочкой; ткнулась со смехом икливим: в пестрятинку.

– Вы посмотрите... Узорика – в клетку: зеленое, красное... Шашечки... В каждой, как солнечный зайчик, – желток... Поле – дикое... Это – материя кресел и штор брату, вашему: в комнату!

В рот папироску, за дым облетающий и перевивчато легкий прошла, как в свой сон.

И – оттуда: в дымочек:

– Не стоит, голубчик, допытываться!

Да, слова – арабески: дымки – занавески; как чертики в форточку, в Козиев Третий взвиваются; Козиев Третий взвивается – в рок!

Все – взвилось!

Глазки, – как лезвия: блески резкие! Не доверяйтесь: предательница!

Едва сели за стол они, Тителев, бросив салфетку, откинулся; и в Никанора Иваныча глазом, как тяжеловесным топазом, – ударился –

– яростно!

– Чорт вас дери!

Катастрофа

Взяв кепку и очень жестокую трость, его вывлек он:

– Слушайте! – трубочкой; а харахорик; ведомый в репейник, кусался словами.

– Садитесь!

Ткнул тростью в бревнину:

– Не перебивайте меня!

Усмири!

– Я не сяду, – так чч-то!.. И не стану... – хлоп, хватъ: скорохватая лапа какая!

– Неспроста во мне катастрофа с Иваном Ивановичем, – силой усаживал Тителев, – вызвала мысли о вас: зная ваши прекрасные, – бил по подтяжке, привздернувши бороду, – свойства, естественно, я...

Харахорик, сорвавшись, писал по колдобинам витиеватые скорописи, чтобы свойства такие отвергнуть.

И гулькали сивоголовые голуби.

– Дайте сказать... Ну-те: мог положиться на вас!

– Перебью! – сиганул Никанор, и руками в карманы всучился, – во-первых: вы с братом, Иваном, – знакомы?

Мелькнуло, как издали: «Не удержусь и все карты открою!» И – выехав левым плечом, но отъехавши правым: взапых.

– Во-вторых: вы утаивали много данных, их мне обещав: вышла ж – фи́га со сливками!

– Эк!.. Сколоколили!..

– В-третьих, – и палец загнув ему в бороду, – вы-то откуда узнали, чч-то... факт нападения на брата, Ивана, еще неизвестен полиции в ряде подробностей... Вы-то кто?... Сыщик?... В-четвертых, – расшарк иронический, – где основания думать, что здесь, – бросил руки направо, налево, очками поблескивая, – брат, Иван, – в безопасности? Взаверть: оглядывал с победоносной иронией Тителева: тот – за вырез жилетика: пальцами бить:

– И на это отвечу... Но мы отвлекаемся: сядьте... И – бросьте саркастику¹³ эту...

Пройдьясь:

– Зная лично...

– Да я вас не знал-с!

– Мы встречались лет двадцать назад... Ну, – развел он руками, – я не виноват, что меня позабыли вы; неудивительно: я – изменился... Потом надрыгаетесь: слушайте!.. Зная, из братниных слов вплоть до случая с шубой и с клаком, которыми... Дрыганец бросьте-ка... хо!

Трубку выхватив, белыми он разблестался зубами; и снова приблизил лицо узкоглазое:

– Думаете, что подглядки ушибли меня? Да ни капли... Сидите... Мотивы-то были ль подглядывать? – встал он на цыпочки. – Были, – присел и губами всосался, «пох-пох», дымом в нос.

– Были, – спрашиваю?

– Были...

– Я говорю – то же самое...

И указательным пальцем – в плечо:

– Стуки слышали?... Стуки-то – были?...

Пождал.

¹³ Саркастика (от сарказм) – язвительная насмешка, едкая ирония.

– Так подглядывать право имели... я вас провоцировал. Вы – суетник; много стрельной дичи валяется; бойтесь стремглавых решений... – ушел он в усы. – Пока – все по программе; а что сверх программы, – придите; и – спрашивайте...

Никанор, рот раскрыв и колено свое обхватив, растирал подбородок с волнением; тяжесть молчания сбросилась; вспыхнула искра доверия.

Вдруг –

– улыбнулся: пленительно!

– Вашего брата я знал; и – Надежду Ивановну... Скрыл же до срока, – задумался Тителев, вскидываясь в передерги мушиные, снежные: с неба зареяли; плечами – в уши, а пальцами – в боки.

Стоял, вздернув трубочку:

– Ну-те... Открытие брата, – разрыв всего дела военного, о чем бедняга не думал: другие подумали... Кто – невдомек? Все еще?

Ткнулся пальцем в плечо:

– Генеральные штабы!

– Что: чч-то?!? –

– Впереборку задренькала где-то струна; голос, перебираемый сипом, задренькал за ней":

– «Пагубб-йли... меньн-ня... вв-ааи... очч-хи».

– «Ляля... погубили... меня!..»

– Понимаете, что это значит: не штаб даже – ш-т-а-б-ы!

– !

– Трындрин! –

– Звуки, перебитые с прохватом молчанья, – взрывались еще; сипом перебиваемый голос:

– Змэяаа... падкал-хооо-дд-ная ттхы!

– Трынн! –

– струна впереборку!

Теперь только понял!

За братом, Иваном, – охота великих держав!

Тут – в испарину.

Брат, –

– брат, Иван, –

– в Табачихинском с зонтиком черным, в проломленном, косо надетом своем котелке улепетьвает; а за ним –

– Китченер,

– Фош, –

– грохочут тяжелыми танками; падают с треском заборы за братом, Иваном!

И все занавески взвились: Гартагалов, взвитой с Феле-фоковым в небо, – лишь хохлины выпуклого, черно-бурого дыма из дыр – не Москвы, – в высвет красных, занявших зарев!

И бзыком и мыком

– А – брат: брат Иван?

– Подозрение – было... Бедняга – догадывался; и листочки распрятывал: в томы свои...

Победил – Вашингтон.

– Вашингтон?

– Вашингтон.

– ?

– Потому что интрига велась Вашингтоном под флагом Германии; американская организация – ну-те – использовала сеть германских шпионов в России: еще до войны... Удивляйтесь? И – удивляйтесь: эге!.. Предложение брату продать им открытие шло-де от частной компании; он – отказал... И – ... стряслось!

И –

– в халате подпрыгивал: под болевыми ударами, дико истерзанный, брошенный, с выжженным глазом –

– О! –

– О! –

– И –

– «брень-брень»! –

– отзывались стаканы в буфете: в квартире пустой, окровавленной.

– Не мудрено, что рехнулся... Все ясно: грабитель пришел, мучил, требовал выдачи... Частью, – бумаги пропали: чердак поджигали потом, чтоб скрыть, вероятно, следы... Суть не в этом: грабитель, германский шпиончик, не знал, что работает на Вашингтон; он – надутая кукла... Я, – ну-те, – случайно знавал его в молодости: это – некий Мандро, спекулянт... Имя не говорит – ничего?

– Ничего!

Вдруг дрожа, – с разволнованным шопотом: Тителев:

– Вы при Леоночке имени этого – не повторяйте... И снова с небрежностью:

– Суть же не в этом!..

В воротах, шагах в тридцати, в перепыхе, и прячась под шляпой с полями, – блеснули очки: без лица; носом – в шарф:

– Извиняюсь...

– Вам что?

– Комнат нет?

Носом мырзает: с холоду.

– Вы объявление читали?... А?... Нет его?... Значит, и комнат...

Спиною к очкам.

– Извините.

– Пожалуйста.

И – нет очков под воротами.

– Суть, повторяю, не в том, что истерик развинченный, схваченный, был не в себе, а суть в том, что его подменили в тюремной больнице, запутавши номер и похоронивши под номером – да-с: сумасшедшего; где-нибудь прячется он!..

И увидя, что брат, Никанор, подставляя лопатки, трясется от плача:

– Придите в себя... Вы не маленький... Я ж отвечаю на пункты, на ваши... Второй пункт: откуда я знаю? Ячейки: в России, на западе: всюду-с!

– Так вы – политический?

– Кто же еще? Ну-с, а дом-с резонансами? Ну, а – чеканка монет: хохохо!

Никанор от стыда стал малиновый:

– Вы – так чч-то: вы – не подумайте!

– Я и не думал, а я выяснял, на вас именно, – чисто ль работаем; ну-те, допустим, вы шпик; и, допустим, живете у нас; и, допустим, – не видите, не замечаете... А вы заметили, как Химияклич, в ту ночь ночевал, проезжая из Перми: в Лозанну...

«Толстяк» – Химияклич? «Толстяк» – псевдоним, знаменитейший, – Якова Яклича Химикова, и больного, и старого, все же гремевшего юно статьями. Да кто ж их не знает? Кто их не читал?

А он-то, он-то?

– Простите, меня!

– Мы себя проверяли на вас.

Тут же – с горечью:

– Здравствуйте, – руки разбросил, – фальшивомонетчики: милости просим... – раскланялся, кепку сорвав. – А по-моему, – мы-то и боремся против фальшивых монет всего мира... Пункт пятый: Ивану Иванычу здесь – безопасней всего... – И рукой охватил буераки он: – Организация будет следить... Око зоркое – тоже появится, как эти самые – из подворотни: являлись сейчас... К тому времени мы ликвидируем стуки: уже типография переезжает: выносятся шрифты: прокламации, – не ассигнации... Тоже хорош! Впрочем, – к этому времени руки шпионов – оторваны будут; и это все, – трубкой в репейники, – рухнет.

– Что?

– Все.

– Ставка, армия, – ну-те, – судопроизводство, Россия, Германия, Франция, Англия: все! Десять пальцев разинулись:

– Мы возьмем власть! – десять пальцев зажалися.

– Ясно?

И кепку надвинувши, руку засунув в карман, Никанора Иваныча – носом на землю с луны он швырнул; и – пошел с перевальцем, обидным таким: под ворота.

Тут щелкнул подъезд: точно мышерка, –

– черная дамочка – с плоским листом, как у кобры, конечности, а не с полями увенчанной черным пером черной шляпы, закрыв лицо муфточкой –

– вылизнула, –

– как змея, –

– на змеящемся

хвостике, – а не на шлейфе.

– Куда, Леонорочка?

Бледный, как мел, подбородок ее показал – лишь улыбку: безглазую; черным пером черной шляпы боднула, как козочка: преградиозно:

– Не спрашивайте!..

– К офицеру, –

– как эхо, –

– в мозгу Никанора мелькнула откуда-то шалая мысль.

Муж не знает, – куда.

До нее ль?

Трески трестов о тресты: под панцирем цифр; мир – растрещина фронта, где армии, –
– черни железного шлема, –

- ор мора:
- в рой хлора;

где дождиком бомб бьет в броню поездов бомбомет; и где в стали корсета одета – планета!

Терентий же Тителев, встав с Фелефокковой лысины, перетирая сухие ладошки, все это – в бараний рог выгнет! Как если б из серого неба над серою Сретенкой, ревом моторов и лаем трамваев отвеявши небо, повесилась над дымовою трубою бычина морда –

- и бзыком, и мыком!

Не вынесши ассоциации, бросился брат, Никанор, через Двор, за забор; но и тот дом дубовый, и этот дом с розовым колером, угол забора и купол собора, и трубы, и улицы – с окнами, стеклами, с каменной башнею, – вовсе не то, чем молчали, а то, чем вскричали в распухшие уши:

- Мы рушимся, –
- рrrрууу: –
- это «Скорая помощь» проехала...

Поздно спасать!

Да и нечего, все – развалилось.

Сестра

Серафима Сергеевна Селеги-Седлинзина бедно жила: и ходила на службу: в лечебницу; ростом – малютка; овальное личико – беленькое, с проступающим еле румянцем: цвет персиков!

Ветер – порывистый, шквалистый, шаткий; калошики, зонтик – пора! И – несется: кой-как, через двор, под воротами, – одолевая серо-карий забор, закричавший под ветром, под палевый домик; ух – рвет! Покраснел кончик носа! Винтятся, с бумажкою свитыши пыли играют, ввиваяся за угол; от трех колов – рвет рогожу под домом, где писарь лентяит в пустом помещении (часть разошлась по Москве, чтоб висеть на подножках трамвая).

Вот крепкий, как крепость, забор: перезубренный; гнется береза в окрапе коричнево-сером: и – зашебуршало, как стая мышей из бумаги; в воротах сидит инвалид, в прыщах красных: Пупричных: глядит в глубину разметенной дорожки, с которой завялись с красной гирляндой летающих листьев – и шали, и полы пальто; лица – красно-коричневы (с ветра); юбочонку охватывает вертохват.

Но яснее, под небо встав, яркий жарч кровель и крыш; из расхлестанных веток является розово-белый подъезд; два окна; вот – под ветви уныривают; но расхлещутся ветви, – и вновь выплывает карниз с подоконным фронтоном; туда Аведик Дереникович Тер-Препопанц поведет, точно стадо баранов, больных интеллектом людей с исключительно нервными лицами, с жестом, в котором – подчеркнутость брошенной позы.

Сюда приходя, волновался; там, за воротами, – точно в водянке оплывшие рожи копителей Девкиного переулка; здесь – мысль в напряжении; здесь – острота, пылкость, смысл!

Но не то полагал Пятифыврев:

– И бродят, и бродят!

Пупричных, привстав и плечо на костыль положивши, отвечивал:

– От мозголома... А энтот, – и он показал на мужчину с заколотым розовым галстуком, в фетровой шляпе и в сером пальто с отворотами, – тутовый он?

– Пертопаткин, – родными посажен за то, что войну отрицает!

– Резонно, – Пупричных насытился зрелищем; и – под воротами отколтыхал костылем.

– Фатализм – очень вредное верованье, развращающее наши нравы, как и шовинизм, наступательный патриотизм, – приставал Пертопаткин, Кондратий Петрович, к Пэпэш-Довлиашу.

Пэпэш-Довлиаш, Николай Николаич, профессор, толстяк, психиатр, вид имел добродушного лося; подрагивая и как будто паркет растирая ногою, с приплясочкой, вытянув челюсть и губы напучив, как для поцелуя, – спросил Пертопаткина:

– Как самочувствие?

– Прямо божественное!

Николай Николаич рукой с карандашиком, глазками и котелком – к Препопанцу:

– Клистир ему ставили?... Ставьте!.. – и прочь отбежал, чтобы оцепенеть: глаз – бараний, пустой.

Аведик Дереникович знал: диагноз устанавливает; интуиция действует с молниеносною силой; почтенное имя, профессор:

– Плох, плох, – *гулэ ву*?¹⁴

Поговорку, которой кончались прогнозы, – *плэт'иль*¹⁵, «*гулэ ву*» – говорил ассистенту, больному, себе самому, задрожавши игриво ногою и спрятавши руку в карман; «*гулэ ву*» –

¹⁴ ...*гулэ ву*? (неправ.) – вуле ву (*фр.*) – не угодно ли?

¹⁵ *плэт иль*... (*фр.*) – что.

означало: составлен научный прогноз; и теперь место есть для стечения мыслей игривых о ближнем, который и есть – «гулэ ву», потому что нормальная мысль пациента и так, вообще, человека, – блудлива и ветрена. Сам Николай Николаич глумился над ближним, «Тонкинуаз»¹⁶ распевая и ровно в двенадцать часов по ночам с Львом Михайловичем воскресая в Кружке, где в железку он резался с князем Сумбатовым-Южиным.

Вставив клистир в Пертопаткина, целился он: на кого бы напасть.

– Вышел за карасями: удить, – говорил Пятифыфрев, – червя им покажет; разинув рты, – цап: и сидят с пузырем на башке они.

– Каждый – в позиции: – мыслил Пупричных, – тот – козырем ходит, а этот сидит с пузырем!

Николай Николаич – нацелясь на бледного юношу, из-за куста к нему – ястребом:

– Вы, Болеслав Пантукан, – кто же, собственно?

– Я – конехвост!

Николай Николаич – трусцою, трусцой: в каре-красные листья.

Огромное поле для всяких разгядов; к примеру: Хампауэр старик, в седилах и в халате: крещеный еврей, состоятельный, но – паралитик, влачащийся на костылях, с фронтальной полосы по доносу захваченный, чуть не повешенный, – явно рехнулся; с усилием перевезли его дети в Москву; ходит здесь; проповедует – свое пришествие.

– Нам хорошо с вами, батюшка: мир-то – во зле!

Так он, овощь откусывая, приговаривал; стибривая несъедобные овощи, их называл «мандрагорами».

– Бросьте: опять с мандрагором, – его урезонивали.

С сожалением редьку гнилую бросал.

Серафима Сергевна себе улыбалась: осмысленность службы в сравнении с тем, что свершалось за розовым этим забором, – вставала; там – зло; пробежала в подъезд, коридорами, за нарукавничком, за белым фартучком; звали больные снегуркой ее; как повяжется, так день – взапах; всюду бегают: чистые скатерти стелет; и знает, что можно окурочек просыпать на стол, – не на скатерть: конфузно; и делалось как-то за скатертью крупное дело: больные себя не засаривали.

¹⁶ *Тонкинуаз* – французская шансонетка, модная в начале века (примеч. А. Белого).

Он губами писал, как губернии

Дым из-за труб; разъяснение, растмение редееющее, сине-сизое, голубо-сизое; встали малиновые и оранжево-карие пятна деревьев, не свеявших листья; дом розовый бело-колонный подъездом и белою лепкой гирлянд поднимал расширения окон, как очи, вперенные в голубоватый прозор.

Распахнулся оконный квадрат: чье жильё? Штора, веко, – открылась; но – мгла из-за шторы глядела; и кто-то к окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе; старик коренастый – в халате: фон – голубо-серый, с оранжево-карею, с кубовою игрой пятен; он кистью играл, а на глазе – квадратец заплата безглазился.

Каждое утро – окно открывалось; и в нем появлялся старик этот пестрый: на черной заплате вселенной стоять.

А позднее больные валили в открытые двери подъезда; их вел Аведик Дереникович Тер-Препопанц, ординатор и доктор по нервным болезням; с ним шли: Плечепляткин, студент, сестра в белом и унтер в отставке, седой Пятифыфрев, с седым инвалидом, – с Пупричных, – влачащимся на костылях.

Новички под окном – старику и халату дивились: расспрашивали:

– Кто такой?

– Он – профессор своей знаменитости: глаз ему жгли, колотили; ум выколотили!

Неприятный толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, параноик, – учил их:

– Сиди под кустом, за листом: не стучи, – гром убьет!

– Да смирней он теленка!..

– А били за что?

– За открытие видов.

Толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, параноик, – подмигивал:

– Видывал виды!

– Кто бил?

Пятифыфрев:

– Остались – пустые штаны; показали – на труп: в живодерне...

– Труп был?

– А не брюки же... Чьи они?... Воздух в штаны не залезет...

И Тер-Препопанц, это слыша, поежился:

– Глуп Пятифыфрев!..

Раз он Николай Николаевичу про нелепые сплетни скажи; Николай Николаевич слушал протянутой челюстью, вытянутой за тугой воротник, опухенный проседой бородкой, напучивши губы, как для поцелуя; лишь глазки, присевшие в белых, безбровых мясах; стали – тигры малайские; взял котелок, трость; и – в сад; к Пятифыфреву:

– Клади – метлу, бляху, фартук: готов? И – туда, – показал головою на улицу, – там: гулеву?

Ему в ноги старик:

– Ни-ни-ни, чтобы я!..

– То-то же...

А больные – подглядывали: за профессором.

– Дурень?

– С большим рассуждением, а – без головы: голова только туловище занимает.

– Она – отрастет: наживная...

Матвей Несотвеев, солдат, – объяснял:

– Стоголовою, брат, головою мозгует он; что ему там – без одной головы, без другой: как губерния, пишет словами!..

Солдаты, Пупричных, толстовец любили больного; его называли: «профессор Иван», «брат Иван»; свой, родной. Значит, – битый!

Став в пару и парой сходя по ступенькам подъезда, старик одноглазый, распятие венец седины надо лбищем, ловящим морщинами мысль, точно муху, поднявши щетину усов, – точно граблями, ими кидался; и был – вне себя; разрезалку держал он прижатой к груди, как державу. И шел, как на бой:

– В корне взять, человек, – поднимал разрезалку.

– Есть мера вещей!

Рассекал разрезалкою воздух, плеснув пестроперым халатищем, где разбросалось по голубому, пожухлому полю столпление пятен – оранжевых, кубовых, вишневых и терракотовых; пятна, схватясь, уходили в налет бело-серый: в износ.

А с профессором шли: Николай Галзаков и Матвей Несотвеев; все прочие пялили глаз – на изъятие красное, скрытое черной заплатою; глаз же другой, – за троих: огонь выдохнув, сжался, став точкою, искрой; пузырь из плевры – человеческий глаз; так откуда же – огненный фейерверк?

Он говорил – вне себя:

– На носу неприятель: сидит!

Николай Галзаков и Матвей Несотвеев – ему:

– То есть, – в точку: у нас на носу!.. Как возьмут Могилев, – нам могила.

– Пустая!..

А в спину им:

– Волосы дыбом!

– Ум дыбом: от этого – волосы дыбом!..

Старик, подняв нос, как осетрий (ноздрию жару выдыхал), на кустарники красные и рого-рогие, пяткой своей вереща, в сухолистьях, – шел.

Сквозной свет

Лучезарно встал сад пурпуреющими, просвещенными кленами: в неизъяснимое небо; боярышник яростный – рой леопардовых пятен; лилово-вишневый – вишневый лист до... золотистого воздуха: яснился, слетом ложась под зеленое золото бледных берез, где оттенками медными ясени нежили глаз цветом спелого персика, перерождаясь в карь гари.

Присев к Пантукану с охапкою листьев сухих, Серафима Сергевна учила разглядывать колеры:

– Ясени – красные; вишня – сквозной перелив; посмотрите-ка, что за листок? Но в два дня облетит: колорит; как бумажка сторающая, – грязью станет.

В сиренево-сером своем пальтеце, в разлетевшейся шали, кисельно-сиреневой, пляшущей в перемельканиях листьев, вся милый задор, – улыбалась; и – сравнивала:

– Вот – боярышники; лист, – смотрите-ка, – вычерчен точно и прочно; крап – красный, в коричнево-черном и в темно-зеленом, бледнеющем до перламутрового; как полотна Грюневальда, немецкого мастера! Это ж перловое поле в коричневом мраке – Рембрандт¹⁷, – отдала она от себя сухой лист; и, склоняясь головкой, разглядывала:

– Настоящее масло! Вот яшень, – сангвина, а коли желаете без галерей изучить итальянцев, то, миленький, глазом улавливайте – земляничные листики: легкие листики эти даны нам – в сквозном рафаэлевском свете!

В глазах закатившихся – только белки от разгляда: себя же – в себе; диагноз устанавливала, на каких колоритах лечить этот глаз, чтобы глаз лечил душу.

– Романтика: без воли к мысли, – шутил Николай Николаич, – вполне безобидная глупость... Работает, больных не портит: плэт'иль?

Ошибался: раскал добела интеллекта влагала в сознание: играми в листики; личико с мило малиновым ротиком, с очень задорным и розовым носиком тихо скосила; глаза – лазулитами стали:

– И вот: собирайте, разглядывайте; колориты, в глаза излитые, из глаз разлетаются: наукой видеть, чтобы без истории живописи самому узнавать, что важней, чтобы точно понять, для чего надо – знать!

Не кругла, но не нитка: овальное личико; носик не виделся: произведение Праксителя¹⁸, – правильный, легкий, прямой; прямою дышала.

Из зелени светлой ожелченных светлых деревьев, в бело-сером и в бело-серебряном небе – день делался вечером; листьев набухшая пуча: в набухнувших кучах; вон – дерево темно-зеленое, с отswerком, серо-серебряным, бросило желто-оливковый плащ своей тени на выступ деревьев, ярчеющий, солнечно-желтый; за ним – уже розово-ржавое дерево: в сером тумане вставало; оно стало розовым, как запарело от пруда: едва.

¹⁷ Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – гениальный голландский живописец.

¹⁸ Пракситель – великий древнегреческий скульптор IV в. до н. э.

Номер семь

Серафима Сергевна выслушивала Никанора Ивановича; он прикуривал; наискось виделась комната: склянки, пробирки, пипетки, анализы, записи; кто-то, весь в белом, над банкою с «acidum»¹⁹; даже – «venepa»²⁰: из шкапчиков Надписи.

– Что ему нужно? Да комната! Я – нужен: с комнатой; что? Да какая-нибудь обстановка; уход нужен; нужна сестра – что: чч-то?

Тут улыбнулся, пленительно, севши на стуле верхом, снял очки, чтоб очковой спицею в ухе копать; казался усталым и вдруг без очков постаревшим архаровцем; вид – протестанта: в очках:

– Согласились бы вы – за приличную мзду состоять при Иване, при брате?

Она – занялась.

Крик:

– Хампауэр!

– Простите...

На крик – вон из комнаты.

– Лампу-то, лампу зачем ему дали!

Дверь – настежь: через коридор; там из двери открывшейся – черными хлопьями красный столб ламповой копоти бил; в центре очень неясно стоял кто-то в тихом пожаре, кого унимали и кто объяснял:

– Этот остров впал в грех: я его наказал извержением!

Выяснилось: население острова, или стола, – муравьи: в мешке с сахаром.

Семь номеров на ее попеченьи: хлопот-то, – хлопот!

Серафима Сергевна развесила висмут; с лекарствами стол – в световых косяках; ей же в спину глядел коридор; и там слышалось, как выключатели щелкали; в ламповых стеклах выскакивал белый, холодный, отчетливый блеск, – не огонь.

Порошочек рассыпала, вздрогнув; и беличье что-то вдруг выступило на лице:

– Плечепляткин, – меня испугали вы, – личико стало котеночком.

– Вас – Пантукан зовет: лист он бумаги размазал.

Невидная глазу улыбка:

– Размазывал прежде он ужасы: красками; и оттого – ночь не спал; я просила его счернить ночь простой тушью, чтоб глаз успокоился...

Ставши улыбкой самой, – к Пантукану пошла: топоточком.

Предметы прозрачные глазу не видятся; и Серафима не виделась: вовсе: следила за жестом руки, зачерняющей лист:

– Тушевание – важное дело!

Нельзя было прямо понять: красота от добра иль добро красотой рождалось; но то и другое – путем становилось: путем фельдшерицы.

Шурк, топоты: ближе и ближе.

¹⁹ *acidum* – кислота.

²⁰ *veneria* – яды.

И – видели: по коридорам, ломаясь броской походкой, бежал Николай Николаич за пузом своим; за ним – пять ассистентов, подвязанных фартуками, со всех ног удирали; влетев, Серафиму Сергевну, – застигли врасплох.

– А, рисунки? – гнусил Николай Николаич, – сердечность – за счет интеллекта?...

– Так – клизму: научное знание, бром, чистый воздух, физический труд восстановят ему дру а де л'ом²¹, – напевал Николай Николаич; и пяткою терся о пол:

– Гулэ ву?

Подписан приговор, имел вид добродушного лося.

Бедром и игрою ноги нервно вздрагивая, точно кожей лошадь, сгоняющая оводов, – припустился бежать; и все пять ассистентов, как оводы, с жужем и с шуршем, – за ним припустились: бежать и влетать в номера –

– номер два,

– номер три!

– Ну теперь, Пантукан, – вы уснете!

В своих нарукавничках, в фартучке беленьком, малой малюткою – светлым, пустым коридором пошла, где направо, налево захлопнули жизни средь стен сероватых (с каемкою синей); пространство пласталось планиметрически; знала, что плющились люди, воссев на постели; и плющились рядом халаты их; днями бродила в мертвецкой: свершать воскресенье.

Не виделось, что, интеллектом и волей владея, в них делалась вовсе невидимой: вот –

– номер пять,

– номер шесть,

– номер семь!

Это – номер профессора.

²¹ *друа дел'ом* (фр.) – права человека.

Глава вторая Публицист из Парижа

Телятина, Мелдомедон, Серборезова!

Ах, как пышнели салоны московские, где бледнотелые, но губоцветные дамы являлись взбеленными, как никогда, обвисая волнением кружев, в наколках сверкающих или цветясь горичветными шляпами; и, как шампанское, пенилась речь «либеральных» военных сквозь залп постановочный из батареи Таирова: яркой Петрушкой; в партерах сидели военные эти, ведомые в бой Зоей Стрюти, артисткою (Ольгою Юльевной Живолгой).

Армия – отвоевала.

«Земгор» – воевал, двинув армию мальчиков, чистеньких, блещущих, – в прифронтовой полосе, куда ездили дамы под видом раздачи набрюшников: воинам нашим.

И невразумительно, пусто, в белясье лыси просторов означился путь наших маршевых рот: до окопов, где вшиво не знали, что делать. По знаку ж руки от Мясницкой и мимо Арбата фырчала машина, несущая Усова, Павла Сергеича к... Константинополю: сам генерал Булдуков не поехал туда, потому что от фронта был явный попят: на Москву; и – попят на гуляй веселые Митеньки-свет-Рубинштейна.

Сгибалась под бременем всех поражений Москва; загубела она шаркатней тротуаров, но лезла с Мясницкой в правительство: ликом великого Львова; и – криком афиш:

«Шестиевский. Публичная лекция. „Шесть дней на фронте!“ – участвуют в прениях: Каперснев, Нил Воркопчи, Серборезова, Мелдомедон...»

«Примадура!» –

– «Из Эстремадуры!» –

– «Труа па!»²²

Тарантелла из-под кастаньет.

«Вундеркинд! Сима Гузик! Рояль фирмы „Доперк...“

Лет десять в те числа концерт объявлял.

Крик афиш, семицветие света!

Москва семихолмие!

– Фрол Детородство: «Плуги, сохи, мотыки, железные ведра!» – на синем на всем.

И – «Какухо: Бюро похоронных процессий» – серебряным: в черном.

«Синебов: Телятина» – с изображеньем быка. – «Наф-талинник: Кондитер» и «Слишкэс: Настройщик» – и – «Гомеопат: Клеопат» – и – «Оптическое заведение Шмуля Леровича».

Вывески!

Группа французских туристов приехала нас изучать; молодежь: Николя Колэно, Пьер Бэдро, Поль Петроль, Онорэ Провансаль, Антуан де-Дантин, Жан Эдмон Санжюпон и Диди Лафуршэт; Катаками Нобуру, японский профессор, – сидел: изучал символизм; Суроварди, мечтательный индус, гандист, приезжал, чтоб помочь Станиславскому.

Лорд –

– Ровоам Абрагам –

– собирался пожаловать к нам!

²² *труа па* (фр.) – три шага.

Цупурухнул

С конюшнею каменной, с дворницкой, с погребом, – не прилипающий к семиэтажному дому, но скромным достоинством двух этажей приседающий там, за литую решеткою, переви-сающий кариатидами, темно-оливковый, с вязью пальметт – особняк: в переулке, в Леонтьев-ском!

Два исполина подперли локтями два выступа с ясно-зеркальными стеклами; глаз голубой из-за кружева меланхолически смотрит оттуда на марево мимоидущего мира блистает литая, стальная доска: –

– Ташесю!

Там асфальтовый дворик, где конь запотевший и бледно-железистый, – с медным отли-вом, с дергливой губой и с ноздрею, раздутой на хлеб, – удила опененные нервно разжевывает, ланьим оком косяся на улицу, на подъезжающий быстро карет чернолаковый рой.

Котелок или цилиндр из квадратного дверца выскакивал и выволакивал веющих перьями дам: прямо в двери подъезда; глазели малыцы, Петрунки и Кокошки, дивясь: на пальто Пет-рункевича, на котелочек Кокошкина.

Над вестибюлем профессор Цецесов, пыхтя, волочитя под бюстом; Пэпэш-Довлиаш, – психиатр и профессор, – проходит – в простертые бархаты барсовых шкур.

Тертий Чечернев, –

– соединение умственных смесей в процентах –
– из Розанова²³ – двадцать восемь, из Ницше – пятнадцать; и – десять
из Шеллинга²⁴ (прочие тридцать – из «Утра России»); вполне европейский
масштаб –

поднялся.

Худорусев: он славянофильский журнал издает; и – другой, музыкальный, сливая Сама-рина и Хомякова со Скрябиным и Дебюсси – истерическая патриотка, но – артистическая биб-лиотека; шелкает с фронта: при клюкве и при позументах серебряных.

Доктор Кишечников: –

– водолечением лечит, а лечится сам – настроеньем; собачник, охотник;
теперь – гидропат: скоро, волей судьбы –
– генерал-губернатор Москвы!

Он – прошел!

Академик ста лет, знаменитость космическая, Цупурухнул, – несет глухоту, багаж зна-ния.

Гул:

– Цупурухнул идет!

И все вздрагивают, что не рухнул под тяжестью переворота в науке, которой и не было до Цупурухнула: сам ее выдумал; перевороты устраивал.

Каменный, старый титан, развивавший какое-то там Прометеево пламя, застывшее мраморной палкою (после сверженья титанов); изваянность этой фигуры в породе гранита давила; и вздрагивали:

– Как?

²³ *Розанов* Василий Васильевич (1856–1914) – русский писатель, публицист, религиозный мыслитель.

²⁴ *Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775–1854) – немецкий философ-идеалист, автор философской системы «объективного» идеализма.

– Он жив?

Не выгамкивал даже: вид делал, что – выгамкает; и от возможности этой испытывали сотрясение составов.

Хозяин-то где, – Ташесю?

На Мясницкой?

С Мясницкой!

Как раз появился в дверях; с ним – высокий блондин, им вводимый: «Князь», –

– или –

– Мясницкая!

Весь полновесие он; и весь – задерж; глаза голубые и выпуклые; бледно-желтые, добела, волосы; четкий пробор; желтоватый овал бороды; под глазами – бессонница (это – труды); взгляд прямой, но полончивый, весь в серо-светлом; сиреневый галстух, завязанный точно и прочно.

Его привозили; к нему подводили; о нем говорили; и он гворил; он давал указания, распоряжения, ставил задания, ширясь с Мясницкой, которая осью событий уже становилась в усилиях свергнуть царя, при поддержке – московского общества, деятелей контрразведки, генералитета.

Подслушали дамы, как бархатным тенором он:

– Николай Николаевич...

– С Павлом...

– Да, да... – Николаевичем!..

Шел он –

– там –

– в веер дам!

Лили Клаккенклипс

Нет, Лили Ромуальдовна фон-Клаккенклипс, – что за прелесть! Жемчужина: голая вся; губки – кукольны: с выстрелом патриотических фраз; офестонена грудь; нечто виснет с волос, бледней пепла, подобное разве сквозному чулку: Византия, Венеция, Греция!

Поза – портретная; взгляд – леопарда, а стиль – Леонардо.

Она говорит: пред отъездом своим в Могилев царь расплакался; с немкою сделались тики.

И Флор Аполлонович Боде-Феянов, сенатор, с пергаментным ликом, – пергаментным ликом:

– Как, что?

– Пятка дергалась?

– От черногоренок, чешущих пятки?

Лили Ромуальдовна, или Лили, или – Лилия, – востропетом белого веера:

– От, – закативши глаза, – Маклакова!..

И так ангелически:

– Ножик отгачивают Пуришкевичи²⁵... Стало быть, стало быть: вы понимаете?

Флор Аполлонович Боде-Феянов – не слышит: глухой.

– Посмотри, как она с ним, – жена, старушенция, белой лорнеткой ему показывает, что Дулеб Беблебеев с Натальей Витальевной Херусталеевой в зыбь ее шелка зеленого, в серое кружево, тонет.

Но муж – с глухоты.

– Каконадим – словако-хорват, – потому что слова, экивоки, наречия, нации перемешались в Москве: Булдуков иль Булдойер, Аладьин или де-Ладьэн, – разберись!

Мебель – сине-зеленая; оранжеваты – фарфоры; и бирюзоваты едва абажуры; резьба надзеркальная; скатерть, Драпри, бронзировка; и дымчатый, горный хрусталь.

Фелофулина Юлия и Вуверолина Оля, подруги, арсеньевки, девочки; за Моломолева Юлия выйдет; и за Селдасесова – Оля!

Болтают:

– Лизаша, арсеньевка, – наша...

– С которой...

– Которую...

– Видели: в кафешантане ночном.

– Клеся Лосев там был, Валя Вралев.

Юнец, земгусара, Гога Боско, серебряной шпорою щелкает пред Доротеей Иоанновной Шни: платье – кремовый фон; в нем – пляс палевых пятен, прохваченный дикою сизью.

Шлеп, шопоты, шварк, шепелястящий странными смыслами.

Голос хозяйки:

– Вниманье, – мэдам и мэсье!

Арфу вынесли: ставят.

Почтенна, как «Русские ведомости», к этой арфе выходит профессор, мадам Айхенвальд, Папэндикэ, в смесь сизых и черно-зеленых тонов и в них тонущих пятен: над черно-лиловым ковром.

И – подносики с чашками, бирюзоватыми, тихо носимыми (два белобаких лакея).

²⁵ Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – крупный помещик, монархист, реакционер; основатель черносотенных погромных организаций.

И Питер Бибаго – притронулся к чашке; какая-то дама дотронулась веером до – я не знаю чего.

Кто-то робкий, в визитке бесхвостой, визиткой обтянутый, тихо вошел: прошел в угол.

На фронт: в горизонт!

Пред столиком, крытым рыжавою скатертью, в клетчатой паре (кофейная клетка) стоял психиатр, Николай Николаич Пэпэш-Довлиаш, озираясь на карие полки с кирпичною книгой, и желтую кожу с дюшеса счищал; он двум юношам, бросившим фронт, Казе Ляхтичу и Броне Бленди, горчайшими, правокадетскими правдами сыпал, – в обстании кресел кирпичного цвета, дивана, такого же цвета и полок с такого же цвета подобранными переплетами.

Пухвиль из кресла ему поговоркой, его же, с которой он в «Баре-Пэаре» являлся:

– Вулэ ву гулэ?

Николай Николаевич выставил нос из-за груши с обиженным фыркком:

– Дела-дела, – ножик фруктовый приставил он к шее;

– Тут вот!

И усы стал обсасывать, видя, что «князь» с полновесием, с ласкою выпуклых и водянистых прищуренных глаз приближался; хозяин, хозяйка, две дамы – за «князем».

«Князь» в мягкие руки взял руку Пэпэш-Довлиаша и с долгою задержью жал эту руку, – руками, – стараясь, как в душу проникнуть, но... но... не глазами, которыми щупал он полки за лысиной; и рассыпался в почтительной просьбе: хотелось бы «князю» своими глазами увидеть то дело, которым гордилась Россия – лечебницу.

Но Николай Николаич, чтобы не казаться польщенным, гримасочкою кисло-сладкою:

– Милости просим!

И тотчас с подчеркнутою груботцою, которой так действовал он на больных, быстро выкастил тусклый, бараний свой глаз и, уставившись им в полновесного и белотелого «князя», подсвистывал и подтопатывал толстою ножкою.

– Вы – что?

– На фронт?

– Гулэ ву!

«Князь» же, выпростав руку свою и убрав комплимент, посмотрел на него синевой под глазами, вперяясь в огромные функции руководимого им механизма; и пафос дистанции вырос. Пэпэш-Довлиаш, подавившийся грушей до слез, ощутил с перхотой неуместность вопроса о фронте, пред этим вперением глаз мимо кожаных кресел рыжавого, ржавого цвета и мимо обоев, тоже ржаво-рыжавого цвета, –

– во фронт, –

– в горизонт, –

– над волной желтоватого газа, над черным перением шлемов железных, над ухами бухавших пушек, над... – И Николай Николаич Пэпэш-Довлиаш, подобравшись пред строгим достоинством этой не личности – «лика», – взяв нежно за пуговицу «лик», стал выкладывать плод размышлений своих о войне.

«Князь» же, давши урок поведенья и спрятав дистанцию: раз о больнице, которой гордится Россия, в которой теперь восстанавливает свои силы профессор Коробкин, то – с паузой долгою, после которой – профессор, трудами которого тоже гордится Россия:

– Он – вверен вам!

И Николай Николаич, московский масон, ощутил в оконечности пальцев, – знакомый, особый нажим: нажим... лондонский.

– Можно надеяться?...

И... Николай Николаич, почтенное имя, как пойманный школьник, – с протянутой челюстью, выпучив губы, припал всей проседой бородкою, точно девотка на грудь исповедника, к белым крахмалам и выложил принцип лечения: на основании психологического силуэта иль данных вопросов – допросов...

– Болезнь все же – есть; но... физический труд, чистый воздух, бром, клизма и...
«Князь», не услышав ответа, – с хозяйкой, хозяином, с дамами, – твердо прошел, как
сквозь стены – в историю –
– мимо Москвы,
мимо Минска и Пинска –
– на фронт,
– в горизонт, –
– попирая
ковер, на котором скрещались темные и серо-сизые полосы в клетчатые, темно-сизые
шашки.

Пэпэш дожил свою грушу: как тигр полосатый: с обиженным видом; но тут Цупурух-
нул к нему подошел с анекдотом: не с мыслью, которою не удостаивал молокососов седых;
анекдот повторяли в Москве, Петербурге, Стокгольме и Праге; и даже он был напечатан Кор-
неем Чуковским – в известнейшей книге: «Великие в малом», в главе «Экикики у старцев».

Как столб телеграфный гудел Цупурухнул; но зло приседали за блеском очков желтова-
тые глазки Пэпэша.

Ввиду этих слухов

Сюртук распашной.

Кто такой? Куланской.

Со впеченной большой головой; лоб – напукиш, излысый; в очках роговых, протарашенных борзо и бодро.

Такой молодой математик.

Мадам Ташесю:

– Что, зачем, почему, – вопрошала глазами мосье Ташесю.

– Ах, – почему знаю я, – ей ответили издали плечи мосье, – потому что: с той самой мягкой задержью князь придержал Куланского – руками за руку! И несколько брошенных тенором фраз: о тяжелых годах: об ученых трудах, о научных потерях, о случае зверском с известным профессором, о неизвестных интригах, о методах, тоже известных, в известной лечебнице, о перспективах здоровья, но лишь при условии полного отдыха, а не депрессии порабощения воли, – гипноза, который порой практикуется даже почтеннейшими психиатрами; ими гордится Россия; но методы есть и иные.

И вдруг, – уведя Куланского за складки драпри:

– Ввиду слухов, досадно проникших уже в иностранную прессу, – позвольте же мне... – с мягкой задержью. – Это – вопрос деликатный, но, – ухо из складок драпри!

– В международном масштабе... Военное время... Зем-гор И политика! –

– Что?

– Да: Николай Николаич... почтенное имя... Но есть увлечения; есть заблужденья... –

– О чем он?

– Певички.

– Ввиду этих слухов...

И, не дорасслушавши, выразила ухвертка дама глазами тяжелый вопрос свой:

– К чему?

– Да отстаньте, – ответили издали плечи.

Расскажут из верных источников, что Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш, увлеченный каскадной певицей, Эммой Экземой, бросает лечебницу эту.

«Мясницкая» выразила пожеланье: с осмотром лечебницы соединить и визит, нанесенный больному профессору; кстати: составим свое представление о твердости памяти; кстати, составим о ходе болезни отчетец со слов Синепапича, тоже профессора нервных болезней; условлено: вместе явиться, втроем, с Куланским, с Синепапичем –

– «нам!».

Кому – «нам»?

Куланскому?

Он – преподаватель: не «мы».

Синепапичу?

Что может знать Синепапич? Оттенки психозов, маний.

«Князю»?

Значит.

Рука с той дистанцией, с той душой, от которой сходили с ума, поднялась, и оправила галстух сиреневый; четкий пробор жидких, добела бледных волос и овал бороды, и глаза, голубые и выпуклые, как стекло, поднялись надо всем; и летели уже –

– в горизонты –

– истории...

Мимо подсвечников бронзовых, темных, и мимо молочного цвета борзой, постоянно рас-
пластанной, он по коврам за стеклянной руладой Лядова шел с выражением царственным –

– там –

– в веер дам

благодарственный!

Гузик, пан Ян

Адвокат Перокловский пленил перспективами: слажено, сглажено, схвастано, спластано, намилуковено, – запротоколено, при резолюции: мы – протестуем; и мы умоляем, – всеподданнейшие: Львова, русского, – дать; и убрать немца, – Штюрмера.

Подписи: –

– фон-Клаккенкльпс, Пудопаве, Клопакер, Маврулия, Бовринчинсинчик, Амалия Винзельт, Пепардина, Плитезев, Лев Подпо-дольник, Гортензия де-Дуроприче, Жевало-Бывало, Жижан Доцан (Ян), Педерастов (Иван).

Сели: слушали: и «вундеркинд», Сима Гузик, сидел: слушал, – тоже...

Щелк, дзан: капитан Пшевжепанский, пан Ян!

Эксельбантом блистает и шпорою цокает; в вечной мазурке, – летит кенгуровой походочкой; ротик, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться, – зажался: перед патронессой, хозяйкою; в голубо-пепельном платье, голубо-седою; она, не прервав разговора с Пуклатичем, руку ему – с «перепудром», с курсивом ресниц:

– Ну?

– И?

– Мы?

– И – мы: заняты?

Тут же лакею, с курсивами, с теми же:

– Боде-Феянову чаю.

Лакей полетел.

На курсив отзывался окамененьем мгновенным весьма погруженного в «весьма дела» человека, – пан Ян «от-курсивил».

Отмечено: тем же – «курсивом» ресниц.

И немедленно – к Павлу Сергеичу Усову взглядом, давно приуроченным к мебели:

– Ну?

– Мы начнем?

Патронесса, она – интонировала: без единого слова, – лорнеткой, губами, глазами, курсивами.

А капитан Пшевжепанский – курсировал: курсами, ставя брамсели, снимая марсели; на всех парусах – отлетел: рот, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться, едва смехотнул, про себя, перевинчиваясь на иные какие-то курсы; он – свой оборонцам и свой пораженцам; и красенький с присморком носик, и тихие лихики, глазики, с думцами – врунцы, с распутинцем – путинцы, с Дуней Че-ревниною и с Муней Головиною!

И «керенка» в марте уже похлопочет: пристроит при Керенском; корень в Корнилове пустит в июле, чтоб в августе – выдернуть; –

– нынче бородка – «а ля Николая-дё»; под крепкою кепкою станет она –

– «Ильичёвкой».

И, коммуноид, – занэпствует!

Павел Сергеевич Усов, профессор, принявший в объятя последние вздохи Толстого, встал в сине-зеленое поле обой с черно-синими выливнями, точно волк, в ночь распластанных, чтобы о противогасах докладывать.

Он – доложил.

И теперь «вундеркинд», Сима Гузик, детина со стажем (лет пять как он бреется), – встал; Хesia, сестра его, – кременчугское диво, покрытое волосом; дядя же Осип – Жо-зеф Гужеро: Канн, «Креди Лионе»; два кузена: хохф: Яша Пэхoo – в «Берлинер Музик-Ферейн» Гельбше; а Пэх, Сашка Пэх, – дон Пэхалесом сделался (Лос-Анжелос): он женился на дочери дона Мамаво, из Монтовидео – плантации пальм, ананасов на острове Падре-Психос!

С видом гранда, взвив волосы над клавишментом, скатился руладой под складки портьер сизоватых со вляпанными бледно-малиновым бархатом бабочек.

Черный квадрат

Шаркает шаг.

Эту комнату –

– пересекает –

– Велес-Непещевич!

Отдавши лакею портфель, котелок, из портьер, – сквозь портьеры кидается черным квадратом за скачущими, каре-красными взглядами; физика, – вовсе не психика: бычья, надутая жилами, шея; и не поворот головы – геометрия корпуса, справа налево, на тоненьких ножках, со штрипками, мимо расблещенных лаков: под зеленоватое зеркало.

В зеркале: –

– красный квадрат –

– подбородок!

Злы щелки глазные: с укусами; три поперечных морщинки щетиной свиной заросли; и визитка – не наших фасонов; и брюки – не наших фасонов, а лондонских.

Щелк каблуками лакированных – в зеленоватое зеркало.

Свергом безлобо, безглазо бросается в черную комнату, точно в спокойное кресло из черного дерева.

С кресла Пампесиас, граф Небеслинский-Монолиус, в недра московские брошенный беженец, – к Петеру Бакену.

– Кто он?

Развалина и фармазонистый нос, камергер, Петер Бакен, остзейский помещик, – ему:

– Гм!

Пустивши дымочек:

– Звено, так сказать: меж Земгором, Булдойером и Булдуковым.

– Так значит – со всяческой властью?

– Пока еще «п р и».

– Я – не понимаю вас.

– Вы поглядите на «князя»: не личность, а «лик»; и взгляните на этого: «бык», а не «лик»; ангеличие «князя» покоится, все, – на «быках»; «князь» обсасывает, загибая мизинчик, куриновую косточку; функции этого – резать цыплят.

– Так.

Пампесиас, граф Небеслинский-Монолиус, в черный атлас вырезного, широкого кресла, в окрапы коричнево-белых и розовых лапок откинулся – над сине-бледною, с просинью, ска-тертью.

Зашепелявили фразами, брошенными из-за пепельниц в цвета ночного искрящийся лак этажерочек; пепельницы – из оливково-желтых камней, запевающих цвета небесного пятнами; волны обойных полос, синусоид, свиваемых кольцами, – сизо-оливковых, с сине-зелеными – в отсвете фосфора. Шопоты. Шварк шепелестящий.

Шаркает геометрически – черный квадрат; глазки, клопики, карие.

О, дон Мамаво!

Какие-то кляклые вляплины пальцев – по клавишам: в смеси тонов, – темно-синего с темно-зеленым.

А там, – из угла:

– Орьентация, здравствуйте!

– Две, – лопнул, точно струна клавишмента, Велес-Непещевич.

И – вздрогнула там онемелая дамочка, влеленная в фон обой: плачем клавишей.

– Две!..

– ?

– Раз – из Лондона; два – из Парижа.

И – в ухо фальшивым фаготом он:

– В Лондоне – против Пукиерки... Этот Коробкин Пукиерке сбыл изобретенье; хитрый кинталец пропал.

– Уговор?

– Может быть, – громко лопнул Велес-Непещевич: в плач клавишей.

Из меланхолии темных ковров обессиленно встал меломан:

– Тсс! Велес-Непещевич подшаркнул:

– Пардон!

В ухо: сипом:

– Приличная форма надзора – лечебница; так полагает Булдойер и лорд Рододордер; а лорд Ровоам Абра-гам, масон лондонский, верит Пэпэшу, масону московскому.

– Вздор!

Непещевич откинулся, вышарчил ножкой, безглазо вперяся красною физикой:

– Вздоры – законы истории.

– То же, – «история», – вспыхнуло гневом в душе Пшевжепанского, но он увидел: морщинки, три, прокопошились иронией:

– Сам ты «с историей».

И капитан Пшевжепанский глаза опустил: на истории наших позоров он строил карьеру:

– Так вот оно как...

– Оно именно – так.

Сверт: и – красный квадрат, подбородок,

всем корпусом –

– черным квадратом –

– ударился в Гузика:

– Вздор этот – тоже «с историей»: лорд Рододордер построил свое заключение о том, что в Мельбурне Друа-Домардэном себя называл Домардэн – на досье дон Ма-маво, а «дон» этот – зять дон Пэхалеса, – попросту Пэха, двоюродного брата, – на Гузика, – брата берлинского Пэхова; Гузик – «история»: лапу Берлина и лапу Парижа связал музыкальными лапками... Ишь как, – и ухом наставился: – О, дон Мамаво: лалала, лалалала, – юркая ножкою, он подпевал.

Вдруг себя оборвал:

– Потому что – Жозеф Гужеро, орьентация Пуанкаре – Панлеве, – общий дядя: Пэхалеса, Пэхова, Пэха и Гузика.

«Пле-пеле-плё», – переплескивал клавиш: под пальцами Гузика.

– Вздоры историй сплетаются этими трелями в бич и в бабац чемодана; а впрочем, история – вздор: лалала.

Клака клавишей, как оплевание, как оскорбление: прянно раздряпана, дрянно разляпана – в онемение, в мление, в тление!

Вляпана: клякой пощечины!

Дама, уйдя в перелепеты, вляпана позой портретною в волны полос, синусоид, свиваемых кольцами, сизо-зелеными; а меломан обессиленно клонит лицо в меланхолию сизо-оливковых фонов; а завтра он с Керенским – в обморок.

– О, дон Мамаво: лала-лалалала, – фаготовым голосом бзырил, как бык.

Он Бодлера сумеет прочесть!

Что вы думаете?

Вдруг подбросил свои – три – морщинки; и шелками глаз укусил:

– Арестована Застрой-Копыто: сношение с Пэхоо, поджог чердака; Гужеро с Домардэном прислал ей валюту.

И ножка проюркала:

– Ставка – за нами!

Морщинки, – три, – плакали. Красный квадрат подбородка – под ухо; и жилы, – две, – выпыжились; и пан Ян, не герой, содрогнулся: вот клоп!

– С нею виделись?

– Вам что за дело?

Сказать не сказать.

– Булдуков – моет руки, – уклончиво.

– Мы – тоже вымоем: кровью.

Они посопели.

– По-моему, – очная ставка: в присутствии Ставки; пока за бока князя – вы; я, пока, – за бока: Булдукова; выписываю Жюливор, – раз!

Корпус сломал.

– Сослепецкого – от Алексеева: два!

И морщинками в черно-лиловый ковер он безглазо уставился, соображая, –

– что –

– Жюль Жюливор в Хапаранде сидит с Каконасим, словако-хорватом, иль сербо-мадьяром; и там перлюстрирует корреспонденцию; Цивилизац, бывший главный заведующий предприятия «Дом Посейдон» (Сухум, фрукты), отсюда, –

– чрез Жонничку, горничную мадам Фразы, отличнейшим способом их обо всем орьенти-рует; –

– Фраза, любовница Петера Бакена, – с Эммой Экземой, –

– а с Эммой

Экземой –

– он!

Это сообразив:

– Ну, – пока...

Сверт; и мимо зеркал – за портьеру: в наляпанный бархат малиновых бабочек.

Кока: корнет

Ян Пшевжепанский с гадливой иронией думал, что – тот же все, в тех же бегах –
– по Москве, –
– по Парижу, –
– по Лондону, –
– в том же своем котелке, цвета воронова; с тем же самым портфелем тугим, цвета воронова, вылетал и влетал он (во все учрежденья), везде и нигде, принимая участие видное, часто невидимое, из-за пыли, им поднятой, точно за пыльным ковром, выбиваемым палкою: хлоп – Протопопов; хлоп – князь!

Не отхлопавши акт исторический, новый отхлопывал, вовсе не видясь, как маленький клопик; прекрасная, сине-зеленая комната эта; –

– вся, –
– вся, –
– проклопееет!

Последняя ставка, – да это же царская Ставка: хлоп! С нею история, как от пинка ноги – хлоп!

Капитан, не герой, – задрожал: как рыдван опрокинутый, перегрохотнуло громадное тело России –

– за Минском, за Пинском!

Пыхтя, –
– передергиваясь, –
– крепким деревом кракая, фыркая дымом, землей, – над окопом покачивалась тупоносая танка; бетон, как стекло, разбиваясь на дрызги дивизий, дрежжал, режа воздух над черным перением шлемов железных!

Как тощая стая собак, хвост поджавших, вдали, – пулеметы оттявкали; воздух высвистывал тихую пулею; не то – зефиры, не то – визг разбитых дивизий...

Пан Ян, не герой, успокойтесь же: это – за окнами, в окна, –
– бряцало, бабацало, цокало, кокало!

Конница!

Кока, корнет, перед нею прококал конем гнедо-розовым: из ночи в ночь.

Молкнет все

Молкнет речь; молкнет Русь: молкнет ночь – в шелестениях поля несжатого...

Точно последняя ставка, там поезд, из морока черного ясными окнами мокрых вагонов сверкнув, в черный морок летел, к царской Ставке – за ставку: туда, где блистали, трясясь световыми лучами, прожекторы, пересекаясь, взлетев и пав ниц, чтобы вылизать светом полосу травинок: –

- рр –
- ррырр –
- рр –

– приятно порывкивая, морок ухал: орудие дальнее; и уже ближе, взблеснувши, рванулося все, что ни есть, молниеносно ударивши в ухо, как палкою: тяжелобойное! Перст световой показал на поля; поле – затарарыкало, плюнув свинцом: пулеметы!

Сквозь них, как раздеры материи шелковой – ррр – оры – роты – из проволочных заграждений.

И – «бац»: отблистало; и – «бац»; все – затихло: нет роты; а в том самом месте, – те же оры и дёры: туда прошел полк.

Из купе (первый класс) – треск отрывистых фраз:

- Рузский.
- Штюрмер.
- Тох-тох, – грохотало: и ясные окна летели из мороков.
- Списочек.
- Жак Вошенвайс... Неразборчиво что-то... Цецерко... Цецерко...
- «Кинталь?»
- Немцы... Тоже – профессор Коробкин.
- Тох! –

– Окна вагонные, врезавши мрак улепетывали: мост!

– Лейпцигская ориентация: перепродажа открытия с ведома изобретателя, или... без ведома.

- Выяснить.
- Изобретатель – больной.
- Если не симуляция.
- А экспертиза?
- Рассказывайте: все возможно... Всего вероятней: Цецерко-Пукиерко, выкрав открытие, скрылся, когда слух в союзную прессу прошел.

«Цац-дза-зац» –

– буфера переталкивались: остановка, огни; из них – ветер выплескивал, – песенкой:

Наш солдатик, – шагом марш!

До Карпат: от Торчина...

Шел, а рожа – скорчена.

И – опять же: «шагом марш» –

От Карпат: до Торчина.

Защищали царский трон

Мы, а наши олухи –

Раздавали в эскадрон
Вместо пушек и патрон
Палки да... подсолнухи.

Брудер, брудер, – вас ист дас?
Как залопалися враз
Бомбы красным отброском:
Продавали оптом нас
Под Ново-Георгьевском.

«Тох» – и –
– ясными окнами темных
и мокрых вагонов –
– сверкнув, –
– в черный морок экспресс неся дальше: из черного морока: из царской Ставки – в
Москву!

Рожа скорчена

Третий, четвертый класс!

Все – солдатня; лом тел в стены: ни взлезешь, ни вылезешь; кто-то порты менял; тихий мужик из Смоленска сидел с перевязанною бородою и с клеткой, поставленной в ноги; достав конопляное семя, украдкой щегла кормил с кряхтом.

– Толичество...

– Что?

– Да калек.

– Надо прямо сказать, что избой – мировой!

Но брань сдавливалась, поднимаясь от брюха поджатого иком пустым.

– Поле упротопопили!

Поле телом посеючас,
Точно скатерть, стелено:
Порадела, знать, за нас
Вырубова-фрелина.

В тыле – воры; в тыле – срам;
Вороги да воргии...
Микалай Калаич нам
В рыло – крест Еоргия...

Удирали от фронтов
Роты наши втапоры.
Барабанили про то
Рапортами прапоры.

Кант серебряный и голубые рейтузы (корнет) и высокий худой офицер перетискивались меж шинелью из первого класса чрез третий; глядь – под сапогами лежит голова – носом, вмятым в подошву; на носе – каблук.

– Ездуневич, – задание ваше...

– Так точно!

– Собрать о бумагах: какие, где, сколько; составите списочек; обиняками – об этой Цецерке; вы служите штабу и русской общественности...

– Точно так!

– Не жандармам.

Щелк, дзан – перетиснулись через вагон: он – взорал

Тифами кусает вошь;
Земец рыщет по полю,
К горлу приставляет нож:
«Законстантинополю!»

От Мясницкой прямо в Яр –

Спрятаться под юбкою, –
Храбро лупит земгусар,
Клюкнув красной клюквою.

Смолкли.

Рассвет: под бережистой речкой, – костер; выше – травы ходили, гоня от фронтов свои дымы как полк за полком, на Москву – в безысходном позорище, а не в России, которая выплакала на юрах безысходное горе в бездомное поле.

Протез было мало

Москва, –
– желтизна, обожавившая за военные годы предметы, –
, – в окне, как в налете; тела, вскрики, ящики; перли; корнет Ездуневич, сщемленный шинелями, перепирал локотню; погон розовый, ражая рожа, наверное, правора, дергала: в пёры и в дёры.

– Гого!

– На побывку!

Худой офицер с синевою под глазами – высматривал.

– Штабс-капитан Сослепецкий?

– Так точно!

– Из Ставки?

– Так точно!

– Позвольте представиться: я – капитан Пшевжепанский.

И он подал руку.

– Вас ждет генерал-лейтенант Булдуков.

Пшевжепанский, блестя эксельбантом и цокая шпорой, вприпрыжку бежал кенгуровой походкою; красенький, с присморком, носик, и ротик, готовый всегда смехотнуть.

Сослепецкий за ним:

– Как с поездкой Друа-Домардэна на фронт?

– До известий от Фоша задерживается.

И ротик, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться, – зажался.

Друа-Домардэн, публицист из Парижа, секретно поехал через Хапаранду – Москву в Могилев, но телефонограммой из Ставки поставились цели: под формой свидания с деятелями Земгора продлить пребыванье в Москве Домардэна.

Не знали, какая тут партия, сам Манасевич-Мануйлов иль сам Милюков.

Вышли.

Площадь – песоха; над ней – навевная, набежная пыль; выше – тучищ растреп в дико каменном небе.

Среди солдатни, отдававшей карболкою и формалином, которым воняли вокзалы московские, – штык: лесомыка какая-то драная чмыхала носом при нем; этим самым добром расползалась Россия во всех направленьях: не менее, чем миллионов семнадцать, такой приштыковины, съеденной вошью, полезло на все, – от Москвы до... не знаю чего.

Положение фронта менялось: попёром назад.

И отряды особые, поотловив дезертиров, тащили пло-шалый, козявочный род; новодранцы седрявые, злые, едва пузыри животов колтыхали на фронт, с сипотой козлогла-ся – прогрыжи, трахомы, волчанки и черные тряпочки легкого.

Прокостыляла обрублина.

Еще протез было мало; шинельный рукав вырывался, на плечи зашлепанный, а вместо глаз – стекла черные: кашлем оплевывали; видно, – прямо из газовых волн; глаз – с подъедою.

Противогазовой маской наделась болезнь.

Но предатель в Москве

Сели в автомобиль.

Капитан Пшевжепанский давал объяснения:

– Невероятный скандал: «Пети Журналь», напечатавший «Ну сомм кокю»²⁶ Домардэна...

– Я знаю, – его перебил Сослепецкий, – ответ на «Гефангенер»²⁷ в «Франкфуртэр Цайтунг»...

– Не знаете: «Популо», после уже, фельетонами брякнуло «Дело Мандро», так что случай с профессором, исчезновенье Мандро и Цецерки-Пукиерки – кухня того же предателя: так-то!

– Предатель в Париже?

– Предатель в Москве.

– Как?

– Так.

– Две информации?

– Ваша?

– От доктора Нордена: из Хапаранды.

– Моя же, – «Пермит-Оффис»²⁸: Лондон.

Коляска: неслася испуганно – немощным, мнимоумершим, пергаментно-желтым лицом старикашки; то – миродержавные мощи сановника; и – унеслася в мнимый мир, где в паническом беге неслись пешеходы и где мимоезды пролеток метались в расставленных улицах.

– Дальше?

– Заметки в «Бэ-Цет», где указано: американский шпион Дюпердри продал краденое: в Вашингтон...

– И?

– Молчание прессы, по знаку руки, – недель пять.

– ?

– Вдруг – арест Дюпердри.

– Дуэль гадостей!

Палочка городского взвилась: –

– авто, фыркнув, застопорило –

грузно митрополичья карета проехала; высунулся на мгновенье белый клобук с бороною, седейшею, преосвященного: –

– света невзвидя, матерый, испуганный лапотник, шапки не сняв на распутинца, с матерней руганью –

– бросился прочь!

Палка городского упала: авто, фыркнув, ринулось:

– Дальше?

– Допрос Дюпердри, в результате которого – вслед за Друа-Домардэном, – секретнейшее: Домардэна в Москве задержать.

Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; улизнул в переулок, сигать по дворам; вдруг по крыше лузнул; и, как ветром надутый картуз, переулок приплюсился; ветер, махнувши Плющиной, ударился – в Брянский вокзал!

²⁶ *Ну сомм кокю (фр.)* – Мы обмануты.

²⁷ *Гефангенер (нем.)* – пленный.

²⁸ *«Пермит-Оффис»* – контора по выдаче виз.

И туда же авто.

Генерал Булдуков

Адъютант Сослепецкий был зол: с Александровского, чорт, вокзала – на Брянский.

– Эй, где генерал Булдуков?

– А вон там!

На путях запасных, за кордоном, в парах, переблескивал поезд-игрушка, неделями пар разводя; за зеркальными стеклами шелкала белоголовая пробка; тут пил Булдуков с Бурдуруковым, при адъютанте, с певичкой, Азалией Пах, и с артисткою, Зоєю Стрюти; Велес-Непещевич с портфелем при них состоял (для особых их поручений).

Из окон маячили тени.

Под окнами штык часового острился, – не выблеском стали, а – злым остроумьем; не бил барабан ходом маршевых рот; прапор – рапортовал: –

– «Раз»!

– «право!»

– «Раз!»

– «право!» –

– Ветер захватывал голос: едва долетало:

– Расправа!

– Расправа!

И – песня плескалася:

Эй, забрили наши лбы
Штуки петербургские, –
Посадили на бобы
Бережки мазурские.

Против шерсти нас не гладь:
Стали мы, как ёжики:
Не позволим приставать, –
Востры наши ножики.

– Так, – процедил генерал Булдуков, – соберите вы там... – побряхтел он.

И – долгая пауза:

– Ну, и...

Тут сделавши пальцем – так, что-то глазенками тыкнулся в Велес-Непещевича.

– Ставке ответите.

Что отвечать-то?

Велес-Непещевич весьма выразительно гымкнул.

– Так точн... вышпревсходство!

Щелкнул шпорою, честь отдал: марш!

А Велес-Непещевич, который вернулся из Англии только что, взяв его под руку, с ним впечатленьем делаясь, заводил его – взад и вперед.

– Объясняю им в Лондоне: «Не принимаю: негодные шины!» – «Нет, сер, – вы их примете!» – Шлю телеграмму: из Лондона в Питер; ответили: «Наши союзники: автомобильные шины – принять».

Где-то перецепляли вагоны, куда-то катя их; от фронта румынского неся, как вошью укушенный, поезд – с разбитыми стеклами: ором и дёром; обратно тащились вагоны, – до фронта, пути перекупорив; и по приказу начальника армии, номер такой, их валили с путей: под откос.

– Приезжаю, – гудел Непещевич, – я в Питер: там «фоны».

Вагоны...

– Там – «дер-ы»!

Два тендера...

Вдруг – мимоходом:

– Пан Ян вас сейчас повезет: быть свидетелем...

– Да пощадите: я – с фронта, еще не умывшись...

– Нельзя, дорогой: потерпите; «он», – взгляд в булдуковские окна, – боялся ответственности, на меня взвалил; там у вас – Ставка; у нас – жандармерия; там – филиал Милюкова, а здесь у нас – Штюрмер; вот «он» и боится все...

– Наш Булдуков – бурдурукает... – к ним подошел Пшевжепанский.

Прошел паровоз: поворот колес, – красных.

– Вот вас господин адъютант подвезет: поработаете.

На путях запасных стали; ясно Велес-Непещевич весьма объяснял, что –

– короткие волны – убийственны; принцип открытия – наикратчайшие волны: орудия нынешние – чепуха, коли у волновой, новой пушки отверстие менее, чем у пипеточки, а район действия...

– Вы понимаете сами?

Под гулом войны мировой – гул иной: гул подпольный.

– Об этом – не крикнешь теперь: перекрадывать след к овладению войной – вот что нужно!

И он – спохватился:

– Ну, – с богом!

По рельсам пошли.

Та же песенка – издали:

Брудер – канн ман? Я – ман канн!

Денежки немецкие!

Разбирайте балаган,

Руки молодецкие!

– Слышите?

– Слышу!

И – вышли.

– Лихач!

Елеонство

Вот домик оранжевый встал; желто-серая жесткая трава; затускло едва лиловато: с востока; вот – Дорогомиловский мост, самновейший ампир, где на серых столбах так отчетливо черный металл защербился рельефами: шлемов, мечей и щитов.

– Посмотрите: наш воин; когда-то парадную каску надев, при копье, при коне, на болота мазурские шел воевать с Рененкампом; смотрите, – в картузике, выданном из интендантства, в шинелишке, спертой у трупа, он – тут!

Залынял: с табачишкой в кармане; и – с фигою; мобилизованный нюхает, что ему слопать.

– Их – столько, что кажется: фронт опустелым, что армия наша – мираж, то есть поле пустое.

– Сопрела в окопах.

А в поле сидели и кашу варили: волна беловатого газа бежала в овраге: недавно еще; вздрогнул:

– Скоро ли?

– Скоро.

Пан Ян Пшевжепанский, похлопывая по плечу Сослепецкого, стал занимать анекдотами:

– Вы называйте пан Яном меня: мы – товарищами.

Сослепецкий подумал:

– Не очень-то лестно.

И вот – горбосвёт: угол белого дома открыл переулок, который ломал этот горб, точно руку, откинутую от плеча и составленную из домов, Сослепецкому очень знакомых: он – в каждом сидел почти: дом Четвеверова; антаблементы²⁹ лупились и блекли; подъезд – доска медная: Лев Леонидыч Лилетов. Карниз фриза³⁰ сизо-серизового, изошренно приподнятый морщью оливковых полуколонн межколонных, выглядывал из-за листвы желто-карей, срезаемой крышею синего домика – о трех окошках; и – с карточкою: «Жужеюпин». «Говядина Мылова» – вывеска. Арка ворот трехэтажного дома в распупринах, с черной литою решеткою: «Песарь, Помых, Древомазова, Франц Унзенпамп, Семимашкин, – доска с квартирантами. Грифельный, семиэтажный, балконами, с башнею, в северном стиле домина стеной бил по Шлепову, по переулку, темня – Новотернев: то – дом „Бездибиль“.

Дальше: Африковым и Моморовым – прямо к бульвару, к киоску, под вывескою «Пеццен-Цвакке. Перчаточное заведение».

– Тррр-ДРРР» –

– барабан –

– роту прапор вел

в переворохи –

– «дррр» –

– переворох на дворах; разворохи, в квартирах; и – ворох сознаний, сметаемый в кучи, как листья бульвара, стальным дуновеньем оторванные с пригнетенных друг к другу вершин, угоняемых в площадь Сенную, – туда, где кричало огромное золото букв –

– «Елеонство!» –

– «Крахмал, свечи, мыло!» – район переулочный, где проживает профессор Сэднамен над вывеской черной, «П. П. Уподобиев», иль – Калофракин (портной, надставляющий плечи

²⁹ Антаблемент (архит.) – верхняя часть здания, состоящая из карниза, фриза и архитрава.

³⁰ Фриз (архит.) – часть стены в виде узкой полосы, расположенная между архитравом (верхней частью здания) и карнизом, обычно украшенная рисунком; выступ в виде карниза столярного изделия.

и груди); с угла – Гурчиксона аптека: шар – красный, шар – синий. Вот вывеска, высверкнув, – сгасла. И тут же мадам Тигроватко жила.

Тигроватко

Тут спрыгнули; под характерною кариатидой; пан Янна подъезд; Сослепецкий, пальто растопырив, из брюк вынимал кошелек, сапогом выдробатывая:

– Чорт, как холодно!

Тоже – в подъезд.

Дверь с доской: Иахим Терпеливиль: и – вот:

– Тигроватко?

Пан Ян подмигнул:

– Прямо в точку: увидите.

– Не понимаю, – ворчал Сослепецкий, – с вокзала... хотя бы почиститься!!

– Вы, адъютант, потерпите.

И – дверь распахнулась.

Передняя пестрая: желтые стены; и – крап: черный, се-рый, зеленый; зеленая мебель; портьера желтеющая с теми же пятнами: черными, серыми, серо-зелеными; слева, в отбытую дверь, – коридорик, с обоями, напоминающими цветом шкуру боа: густо-черные пятна на бронзовом, темном; туда, – как в провал, или в обморок дико-тупой, из которого могут выкидываться только выкрики дико болезненные. Но мадам Тигроватко бросала туда: –

– Аделина! –

– Лилиша! –

– Параша! –

– Наташа! –

– И горничная выходила на зов: Аделина – в апреле; Лилиша – июле.

Снимая пальто, Сослепецкий косился в слепой коридорный пролет, вызывающий ассоциацию: боа контриктор! Поваяло диким кошмаром, уж виданным, –

– где-то, –

– с – утраченным смыслом, как с криком, которого нет, но который сейчас...

Вскрик:

– Леокади!

Взрывы хохота.

– Джулия фон-Толкенталь, – подцарапнул пан Ян своей шпорой.

– Мадам Толкенталь, или – только: таланты; миражи, корсажи; и франты, и фанты!

Глазочки – тусклые, а позумент – прояснялся; и носик морского конька, едва красненький, с присморком, кончиком дергался: (тоже – как сон).

Аделина раскрыла портьеру, и у Сослепецкого вырвался вскрик:

– Это же!..

Древнее выцветом, серо-прожухлое золото: цвет – леопардовый, съеденный, мертвыми пятнами, точно покрытый дымящимся еле износом, как бы вызывающим вздрог: леопард этот – умер ли? Может, – сидит в мягких пуфах?

Драпри, абажуры – под цвет леопарда, пестримого дикими пятнами, как полувскриками, тихо душимыми; фон – желто-пепельный: весь в бурых пятнах.

– Не правда ли, – не из Моморова, Африкова переулков подъехали мы к Гурчиксона аптеке, а бросили трап с корабля: оказались под тропинками.

Не входите: здесь пятнами, в выцветах, рыскает – злой золотой леопард.

Но драпри, отделявшие комнату эту от той, – разлетелось, взбрызнув малиновым, ярким гранатом из матово-черного, как цвет разрыва: дым с пламенем!

Драпри – упало! И – «Леокадия» (и отчество же!) «Леонардовна!» – шпорою звякнул пан Ян!

И – шурш юбок, треск веера, блеск ожерелий, взмах перьев, над черною шапкой волос; перья, бусы, – все черное; платье из морока, очень порочного, в серой иллюзии пятен, подернутых розовым отсветом; черные икры, боа раз-летное; ботинки высокие, черные; глаз, желтый, злой; из-за синих ресниц; переблеклая, темная, кожа; на все вылезавший, как попугай из-за сажи взлетающий, – нос; взмахи перьев.

И вскрики; О –

– Жюле Дэстре³¹

– Ван-дер-Моорене:

– друг знаменитостей Франции, ставшая другом больших генералов, кадетов и корреспондентов военных –

– мадам Тигроватко: –

– в боа и в перчатках!

³¹ Жюль Дэстре – министр Франции.

Гранаты, пестримые мушками

– Вы, господа офицеры? –

– взяв за руки, их потащила в диванную и головою взбоднула, пером разрезая портьеру взрыв красных гранатов); не виделось, – кто, сколько: нише, в кровавых тенях.

– Она, встретясь со мною и узнав... – неотчетливо, с тиком шуршала мадам, – обратилась ко мне: в результате чего, – вы мой гость, адъютант Сослепецкий! И то, что отсюда – ответственно; наше свидание в присутствии вас, господа, – она клюнула, – как представителей армии и комитета, – и, – клюнула, – есть неизбежное дело, поскольку задеты; честь родины, – эй, не мешайте, читатель, – и доблестных наших союзников!

Нет уж, читатель, – вы – не приставайте; и коли не слышно нам с вами, так это нарочно мной сделано (я – режиссер, – знаю лучше течение драмы); давать результат прежде паузы – это ж десерт вместо супа; чем я виноват, что и мне самому неизвестно ведь, кто там присутствует, сидя в тенях.

А мадам Тигроватко из черных теней упорхнула; и – снова на цыпочках, кралася, с куском красным в руках, балансируя веером, чтоб, став в портьере, прислушиваться.

Вот кусочек диванной: гранаты, пестримые смурыми мушками, – стены; портьеры, как гарь от ковров: желто-пепельных, бархатных, точно курящихся дымом; и – скатерть; и вазы оранжевый высверк; стоят офицеры; и кто-то еще с ними рядом...

– Довольно: они у Сэднамена, – рядом, – и вышла из тени, всперив на коленях свой веер.

– Да, вспомнила; вот, – подавала (казалось, что – в мрак) свой цветок:

– Если с да, выходите с ним; нет, – его бросите... Сядете – тут; – хлоп по пуфику, – тут будет видно; мы – там, – на гостиную ткнула...

– Вы – тут: – так вот все разместимся... Месье, – же ву лесс!³²

Кок и цок: офицеры; но – мимо них – козым галопом, с подхлопом в ладоши: за Джулией.

Вывлекши пеструю Джулию, длинную дылду с пухлявым лицом, и взвертев, и встрепав ее – толк: к Сослепецкому:

– Сами знакомьтесь... Опять позабыла: вы с фронта же... Ну? Что?... Как? Дух?

– Худ!

Мадам Тигроватко за это – боа: по плечу.

– Полисон³³.

Вдруг:

– О, – все равно, – встрях черной шапки волос, – только б эти шинели на нас не глядели.

К передней: в пролет:

– Аделина же!..

– Лина же!..

– Чай; пети-фур, фрукты.

– Что?

Плекс и треск.

– Вот история, – заиготал Пшевжепанский.

– В лоб – молотом: эта действительность переросла всякий бред, – тер висок Сослепецкий, страдающая мигренью (с бессонницы).

Неудивительно: два дня назад – треск разрывов, тела окровавленные; как снег на голову, поручение Ставки: в Москву; ночь в вагоне; в итоге же бред; что же, эта гостиная, может быть, поле сражений особых, ухлопавшая все сражения, все достижения наши.

³² Месье, – же ву лесс! (фр.) – Господа, оставляю вас!

³³ Полисон (фр.) – шалун.

Звонок.

Бородою просунулся в двери

Передняя наполнилась вздохом и звуками трех голосов; вот контральто:

– А... вля... ме вуаля...³⁴

В Тигроваткины руки – она: мадмуазель де-Лебрейль; вид – малэз³⁵, но – малинь³⁶; вовсе белые волосы; стрижка – короткая; юбка – короткая; с мушкой, с пафосом а ля Карлейль; настоящий гарсон; и – грассировала: баталистка-художница; вкусы – Пэгу: с темпераментом барышня!

А баритон еще мемькал в передней:

– Мме... даа... мэн... Сэдаамэн... – почти что экзамен.

Читатель! Дабы избежать постоянных упреков в новаторстве, – принципам старых романов Тургенева я отдаюсь, от себя самого отступая в традицию повествования; пишут: «пока наш герой, вздернув фалду, садится, последуем мы в его детство и отрочество»; дальше – десять страниц; терпеливый герой, вздернув фалду, – присев, но не сев, – ждет, чтоб... «Уф!» И тогда только автор:

– Сел!

Впрочем, герои такие, помещики, много досуга имели.

Сэднамен – экзамен; верней – у Сэднамена.

И половине Москвы, бывшим слушателям (или – «ельницам»), ставшим известными деятелями, оставался Сэднамен экзаменом; но, – говорили еще: Се-ре-да-мен (зачет у Сэднамена по середам), прибавляя: сед-амен, сед-амини, сед-аминисти, – глагол: от сидеть.

Таков он – четверть века; усы той же стрижки; пробор четверть века, прямой, – волос, черных прямых; тот же галстух; никто никогда не видал «Середамена» – в смокинге, фраке, визитке или в пиджаке: в сюр-ту-ке!

Вот – Сэднамен.

Трудов нет. Речи тихие. Тихо подписывал, то, что уже прописалось: не лез, но – видался: в собраниях, на заседаниях, съездах, концертах, премьерах; профессорски руку жал, т. е. – с достоинством тихим; так: выжав себе тихий вес, досидится до кресла, до а-ка-де-ми-че-ско-го!

В растяжении слов, лекций, мысли – карьера.

Традиции – соблюдены; он – представлен, просерый и стертый, – под жухлые пятна ковров; отирая усы, он прикладывался к Тигроваткиным пальчикам:

– Дома покоя нет – от милой барыньки; мы вот сидели и пили бордо, а нас барынька на... на фэйф-клок.

И руками развел: в пятна серые сел.

Сослепецкий, замерзнувши в правом углу, Пшевжепанский же – в левом, приструнились, за аксельбанты схватятся, как держа караул в императорской ложе:

– Э бьен...³⁷

– и цилиндром опущенным, сжатым в руке, изогнувшейся, бронзовую бородой, точно в отблесках пламени рыжего, мягко просунулся в двери Друа-Домардэн; позой сжатый, как крепким корсетом, он переступил, став в пороге, вперяся в древнее выцветом серо-прожухлое золото.

³⁴ А м'е вуаля (фр.). – А вот и я.

³⁵ малэз (фр) – расстроенный.

³⁶ малинь (фр.) – боевой.

³⁷ Э бьен (фр.). – И вот.

В золоте стен – Домардэн

Впечатление – первое: от головы и до пят – черный весь.

Этот цвет леопардовый, съеденный мертвым пятном и как бы вызывающий вздрог, его занял; и он озирался на все.

Не входите!

Вошел!

Впечатление – второе: сутуло прямой; шея – выгнута, спина – прямая:

– Ту мэ комплиман а мадам³⁸.

Впечатление – третье: лицо, от которого только бросаются белые, пересвеженные щеки; два черных пятна, глаза скрывших: очки; борода, очень длинная (стрижена четким овалом), вся яркая, бронзовая, с розовато-красными отблесками – есть все прочее; перекисеводородный цвет (действие перекиси на брюнетов).

– Мадам Толкенталь.

– Адъютант Сослепецкий...

– Пан Ян Пшевжепанский...

Расклоны:

– Э бьён, – прэнэ плас³⁹.

Несомненный акцент; он – мэтек: так в Париже давно зовут грека парижского. Сел, уронив свою руку на стол, на пол ставил цилиндр с мягкой задержью, вскинув лицо и фиксируя черными стеклами; пальцами бронзовую волосинку терзал, крутя кончик и бороду выставив перед крахмалом – с отгибом мизинца; и ломкий, и розовый ноготь отметила Джулия фон-Толкенталь.

Офицеры ж впились, разлагая вздрог пальца на атомы «вымученность вспоминаемой роли»; пересуществленный насквозь! Как глазурь омертвелая, отполированы щеки он – эмалированный; он – без морщин – вековая молодость белой щеки (при почтеннейшем возрасте); в бронзе – усы, а не губы; стекло, а не глаз! И открыто кричащий о том, что – парик, этот самый парик с переглаженной черчью пробора и с красною искрой схватившихся вместе волос, – все, все создавало рекламу какому-то там парикмейстеру, а не челу публициста.

Трещина, как гранеными бусами, с пуфа пакет Тигроватко вручила Друа-Домардэну: они – не увидятся; с фронта Друа-Домардэн, метеором мелькнув, унесется в Париж; но тогда не забудет пакет передать; этот, – Франсу, – старинному другу.

С рукою – к пакету, совсем неожиданно в нос он пропел: так поет фисгармониум!

– О, мэ бьенсюр!⁴⁰

И шутливо пакет свой мадемуазель де-Лебрейль перебросил:

– А во деуар!⁴¹

Тряся белой копной волос, пакет взвесила мадемуазель де-Лебрейль:

– Олала! Ля сенсюр, – ублизэ ву?⁴²

– Фэ рьён⁴³: мон Эйжени Васильитш Анитшков, – к – Сэднамену: – Цензором сел на границе!

К мадам Толкенталь – в ухо ей:

³⁸ *Ту мэ комплиман а мадам (фр.)*. – Приветствую, мадам.

³⁹ *Прэнэ плас (фр.)*. – Прошу сесть.

⁴⁰ *О, м'е бьенсюр! (фр.)* – О, конечно!

⁴¹ *А во деуар! (фр.)* – Для вашего исполнения!

⁴² *Олала! Ля сенсюр, – ублизэ ву? (фр.)* – Вот так-так: а про цензуру забыли?

⁴³ *Фэ рьен (фр.)* – пустяки.

– Вам знакомо лицо его?

Джулия: в ухо же:

– Где-то видала.

Тогда Тигроватко, – без всякого повода, громко:

– «Эстетика?» Вы там бываете, как и тогда, когда знали, – и щуры ресниц подсиненных, – там всех.

Удивленная Джулия не понимала: о чем?

Но фиксируя странную помесь цветов, уже созданной здесь обстановки, Друа-Домардэн было кистью рванулся.

Но вздрог: – и –

– упавшая в обморок кисть вяло свисла.

Сэднамен, – из пятен серых, – впятнил:

– Поль Буайе: я учитель Поля Буайе, еще, Луи Леже⁴⁴... мм... МЭН...

Ждали, что скажет:

– Знал.

А Пжевжепанский, склоняясь к Сослепецкому:

– Он – из Австралии, с год лишь, с прекрасною сертификацией – в гранд-Ориан: по мандату из Лондона; послан – с секретными целями; от легкомысленных шуток Максима Максимовича, тоже гроссмейстера, он с нашим штабом списался: и – через Земгор.

Наблюдали, как дергался палец на палец, при пальце, отставленный, вставленный, – на неподвижно лежащей, как мертвой, его левой кисти; мизинец же правой, вправляющий пуговицу, – на показ для других; то – десница; а шуйцей⁴⁵ – под скатерть, поймав на ней взгляд Сослепецкого, точно меж ними вдруг непобедимая острая очень прошлась неприязнь.

И тут подали чайные чашечки: севрский фарфор, леопардовых колеров, – с пепельно-серыми бледнями, с золотоватыми блеснами.

⁴⁴ Луи Леже – профессор русской словесности в Париже (примеч. А. Б.).

⁴⁵ Десница...шуйца – правая рука, левая рука.

Севрский фарфор леопардовых колеров

Чашечку чайную, – севрский фарфор леопардовых колеров, – взяв двумя пальцами, чтобы разглядывать росписи: пепельно-серые, красные пятна.

– Ке сэ рависсан!⁴⁶

– Регардэ!⁴⁷

Тигроватко предметик сняла:

– Что, прелестная, – да?

Бездевушка: пастушка фарфорово-розовая, с лиловато-сиреневым тоном:

– Пастушка: Лизетта!

– Максютинский князь приобрел обстановку, – по случаю: распродает.

– Ке ди т'эль?⁴⁸ – протянулась Лебрейль.

– Жаль: отшиблена ручка!

– Была – с флажолетом; играла на нем – пасторали, над бездной: эль а тан суффэр⁴⁹.

Пшевжепанский, застыв, как оскалась, – под локтем у Джулии, пав в ноги ей, чтоб прыжком оказаться в беседе: свой вкус показать, как оценщика старых фарфоров; тут что-то случилось с Друа-Домардэном –

– пастушка, ни слова по-русски –

– парик, борода, стекла черные, точно кордон, быстро выступивший, защищаться стал лицо: за очки, за парик, – оно село, взусатилось, импровизируя жест кандидата на красную ленточку Лежион д'онер⁵⁰, с неожиданной словоохотливостью объяснял он, что – ехал в Москву с мадемуазель де-Лебрейль, своим секретарем, своим другом – куа?⁵¹ Тут – комедия: он, сама, виза, – в Москве сел без визы; имел тэт-а-тэты с кадетами.

Скажем и мы от себя: в кабинэ сепарэ⁵¹ он случайно сошелся с Пэпэш-Довлиашем, московским масоном, «фразуцом» по стилю, кадэ (психиатр); кабинэ сепарэ⁵², потому что – с запретною водкой, скавьяр молосбль⁵³ (это – выучил) и под напевы гнусавенькой Тонкинуаз⁵⁴ запевал Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш).

О, дорожная скука: фи донк⁵⁵ – ожидать глупой «визы»!

Москва – только станция!

Так с разговора о качествах севрских фарфоров – к задачам войны; закрутил бороды кончик бронзовый.

Гекнуло тут: громкий гек, точно в уши влепляемый, но обращаемый к Джулии:

– Ля бэт юмэн!⁵⁶

– Друа д'онер: друа де л'ом!⁵⁷ – пояснял Домардэн.

⁴⁶ *Ке сэ рависсан!* (фр.) – Как это восхитительно!

⁴⁷ *Регардэ!* (фр.) – Посмотрите!

⁴⁸ *Ке ди т'эль?* (фр.) – Что она говорит?

⁴⁹ *Эль а тан суффэр* (фр.) – Она так страдала.

⁵⁰ *Лежион д'онер* – орден Почетного легиона.

⁵¹ *Куа?* (фр.) – Что?

⁵² *кабинэ сепарэ* (фр.) – в отдельных кабинетах.

⁵³ *скавьяр молосоль* (фр.) – малосольная икра.

⁵⁴ *Тонкинуаз* – французская шансонетная песенка.

⁵⁵ *Фи донк* (фр.) – фи.

⁵⁶ *Ля бэт юмэн!* (фр.) – Человек – зверь!

⁵⁷ *Друа д'онер: друа де л'ом!* (фр.) – Права чести: права человека!

– Друа де мор!⁵⁸ – геком, в уши вклепваемым, в ухо вклепил Пшевжепанский.
– Бьен дй, мэ мордан!⁵⁹ – повернулся с кривою усмешкой к нему Домардэн, будто с вызовом; и –
– дрр-дрр
– ДРРРРР –
– выдрабатывали залетавшие пальцы, вцепляясь ногтями в пятнастую скатерть.
Мадам Тигроватко ушла, влокотяся, в подушечки, в тускло-оранжевые; на мизинец изогнутый нос положила; играла икрастой ногою на свесе.

⁵⁸ Друа де мор (фр.) – Права смерти!

⁵⁹ Бьен ди, мэ мордан! (фр.) – Хорошо сказано, но остро

Черная ручка с кровавым цветком

Мадемуазель де-Лебрейль, чтобы это прервать, стала взавертъ, бросая блеснь черночешуйчатой талии нервно; портьеру рукой подняла; и – лорнировала, восхищаясь: гранаты, пестримые смурыми мушками, стены диванной; и шторы – коричнево-черную гарь, из ковров желто-пепельных, точно курящихся дымом, и скатерть, и вазы оранжевой выблиски:

– Вла с'э ля фламм. Ву з'эвэ з'энсандьэ вотр мёбль пар се руж. (Вот так пламя: вы мебель свою подожгли; я – ослепла.)

Друа-Домардэн даже голову вытянул прямо туда, где – два кресла гранатовые, как огонь, расплалались на бледно-зелено-желтые тускли, пятнимые еле; в гранатовом кресле орнамент теней; в нем сидит манекен, вероятно: перо утонченное, вскинута точно над красным креслом; конечно, мадам Тигроватко – художница, так ли?

Черч тенл из кресла взлетел; и перо под драпри протопырилось; а у Друа-Домардэна углом брови сдвинулись в платомимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх.

Точно пением «Miserere» пропел этот лоб: а в ответ из диванной, как арфы эоловой вздох!

Вскрик Лебрейль на всю комнату:

– Юн фамм нуар! (Это – черная женщина!)

Из-за портьеры же крокуса красный цветок зажимала, как веточка, тонкая, черная ручка.

Пан Ян, приседая, как будто собравшись прыгнуть – с окрысом, – став красным, и ртом, и зубами, сквозь воздух впивался в Друа-Домардэна; став синим, как труп, Сослепецкий встал; и – тотчас сел. А мадам Тигроватко:

– Сэ рьен: повр фамм; эль а тан суффер. (Нет, пустяки: о, бедняжка, – так много страдала.)

По-русски:

– Она добивается визы во Францию! Тут же в диванную:

– Мадам Тителева?

Мадам Тителева

И оттуда, где ручка качала цветок, – закивало перо; и явились поля черной шляпы: под ними лица – пятно черное (все завуалено), рот обнаженный и красный, а губы разъехались на меловом подбородочке с пренеприятной гримаскою –

– с тоненьким –

– «Ну?».

Тут Друа-Домардэн, позабывши про пальцы, – с отчаяньем ставки последней до... до... до того, – что –

– с положенной позы рука как сорвется – к губам: дергать, мазаться пальцем о палец! А задержь – вдогонку; кисть сжатая – под подбородок: упала на кресло!

Все – миг!

– Юн приэр⁶⁰, – обратилась к нему Тигроватко.

– А во сервис⁶¹, – слишком громко: взволнованно громко!

Ему объясняли: содействие, визу, он может достать, – для мадам; жест – к головке.

Головка в портьере ждала: можно было подумать, что дамочка, тут же присев за портьерой, прилипнув, как кобра, к стволу баобаба, – нацелившись на леопарда, готова – зигзагом: слететь с баобаба.

«Простите, мадам: я забыла о вас; вы зайдете узнать о решении».

Черная дамочка, змейка, протянутая плоскочерным листом, как у кобры, конечно-сти верхней, а не плоскочерными, вытянутыми полями увенчанной черным пером черной шляпы, – не вышла, а вылизнула перед ними: перчатка – до локтя; осиная талия; вовсе безгрудая, вовсе безбокая, – черная вся; потекла; их минуя, на шлейфе (а не на ногах), как змея, на змеящемся кончике хвостика.

Всех поразил под густую вуалью ее подбородочек: бледный, как мел; он – с улыбкой безглазой и злой: ртом глядел, как кусая; перо, утонченно протянутое, точно удочка, дергалось.

Вылизнула из гостиной.

Молчали.

Один Сослепецкий – в переднюю: к ней!

Ну?

А?

Друа-Домардэн?

Вновь построилась корреспонденция носа со щечною впадиной, координируйся с головой: корпус – строился; задержь – окрепла; стиль позы, которою он интонировал, – точно молоссы тяжелые, молотом выбитые: три ударных: –

– дарр! –

– дарр! –

– дарр! –

– вот что есть молосс! Греки древние с ним шли: на бой.

⁶⁰ юн приэр (фр.) – просьба.

⁶¹ А во сэрвис (фр.). – К вашим услугам.

Как прыжком леопардовым, – в дверь!

Сослепецкий, настигнув в передней, увлек в боковой коридор мадам Тителеву: серебро эксельбантов, серебряный сверк эполетов, царапанье шпор Сослепецкого, зыби материи шелковой; и – как барахтанье в шероховатых, коричнево-красных коврах, заглушающих шаг, – в той дыре, куда мороком вляпались пестрые пятна на бронзовом фоне, как шкура боа⁶².

Снова вырыв из мрака: тень черной змеи; и – в переднюю снова; за ней – Сослепецкий.

– Я не отпущу вас.

И с синей мантилей в руках, точно вырванной для подаванья, но не подаваемой, отнятой, став серо-синим, – ее умолял:

– Вы – мне скажите... Вы... вы...!

Улыбочка.

– Невероятно!

Пера пируэт.

– Смею я вас уверить, – отдернул мантилью, – что мы не жандармы...

Пятно, – не лицо.

– Политическая группировка и благонадежность, которая интересуется полицию, нас не касается; можете нам доверяться; инкогнито смею уверить вас честью военных, работающих с демократией на оборону страны от шантажа и от шпионажа, – инкогнито ваше и лиц, с вами связанных, я сохранию.

Легкий шепот рта: в синее ухо; вскрик, тупо давимый, под горлом.

– Да, да: это – он!

И – юрк: в дверь.

Сослепецкий вернулся в гостиную, где Домардэн им рассказывал –

– осведомлялся, меж прочим, об адресе дамочки; долго записывал: «Тй... тэлэф?... О се нон рюсс!»⁶³ –

– и вернулся

к Парижу

опять... Жест – интонационен, ритмичен, чуть-чуть патетичен, приподнят на чаше весов; на другой – гиря: задержь –

– о, да, –

– равновесия!

Так и казалось, – нарушится: силищи невероятные, противоборствуя, грохнут разрывом: –

– баррах! –

– Где Друа-Домардэн?

Ключки фрака дымящегося, горло, вырванное из всплывшей сорочки, вонь перепаленных волос: удивительное равновесие!

Джулия – слушала; а мадемуазель де-Лебрейль, – ликовала всей позою:

– Мой-то, – каков?

Только выюрк конца бороды, вверх и наискось, к двери, да талия, взаверт поставленная, – тоже к двери, – на миг, на один, будто выдали тайну Друа-Домардэна: прыжком леопардовым –

– в дверь!

⁶² Боа – см. примеч. 36 к роману «Московский чужак».

⁶³ О се нон рюсс! (фр) – О, эти русские имена!

С Сослепецким скрестился он взглядами.

Вышли: пан Ян провожал Сослепецкого:

– Вот для чего мы вас выписали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.